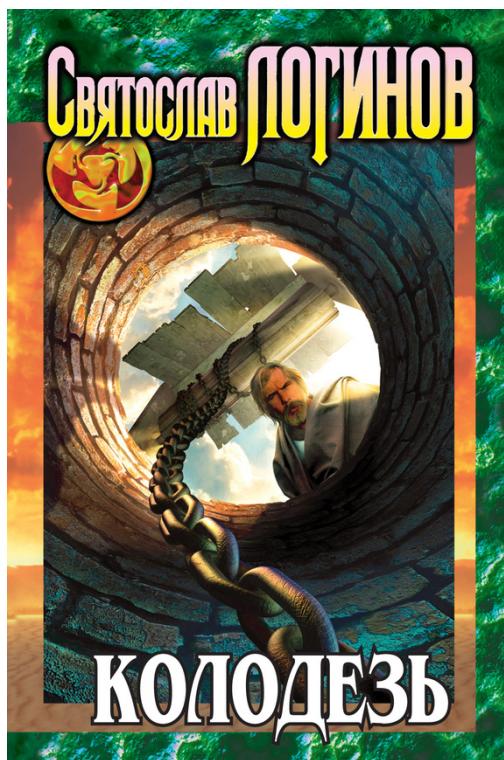




Святослав Логинов

Колодезь

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=119430
Колодезь: Эксмо-Пресс; Москва;
ISBN 5-04-005024-0*

Аннотация

Эта книга – весьма необычна. Это фантастический роман, который в то же время являет собой и историческое повествование, раскрывающее перед нами истинную картину жизни России и сопредельных государств во второй половине XVII века. Судьба героя романа, Семена, поистине удивительна. Родившись в глухой тульской деревеньке, он попадает в плен к кочевникам и в итоге оказывается на невольничьем рынке... Двадцать лет он ходил по дорогам Востока, побывал в Мекке и Иерусалиме, на берегах Ганга и в Нанкине. Порой егошею отягощал ошейник раба, порой – в руках блистал клинок янычара, но он сохранил в сердце своем православную веру и память о доме. И вот свершилось! Чудесным образом перенесся Семен из раскаленных песков Рубэль-Хали в родные края. Но нет уже ни родного дома, ни прежней веры... Только кипит в душе Семена ненависть к старым и новым обидчикам. И вновь он отправляется в путь...

Содержание

Авторское преуведомление	4
Часть I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Святослав Логинов

Колодезь

Авторское преуведомление

Перед вами странная книга – фантастический роман, в котором автор старался по мере сил соблюсти историческую правду, причём ради самой правды, не обращая внимания на конъюнктуру момента. А ведь давно известно, что история – это политика, опрокинутая в прошлое, а правда колет глаза. В результате большое количество людей может быть обижено и даже оскорблено моей книгой. У них я заранее прошу прощения. Правда, господа, ничего, кроме правды!

Семнадцатый век был суровым и жестоким временем, об интернационализме и дружбе народов в те времена почти никто не думал, и люди не стеснялись в выражениях, хуля своих соседей. Большинство ругательных словечек взято мною из подлинных документов того времени, лишь кое-что смягчено. К тому же следует помнить, что многие слова, ныне считающиеся оскорбительными, прежде такими не были. Матерные слова, которые я употребляю чрезвычайно редко, несли функцию обычных слов. Их можно в изобилии встретить в сочинениях протопопа Аввакума и патриарха Никона, в письмах Алексея Тишайшего и много ещё где. А вот в письме запорожцев султану, написанному специально, чтобы оскорбить адресата, ни единого матерного слова нет.

То же самое можно сказать и о слове «жид». В ту пору оно обозначало всего лишь национальную принадлежность и не имело ни малейшего признака недоброжелательства. Автор книги – русский, хотя, как почти у всех русских, в моих жилах есть малая толика еврейской крови. Как ни крути, но все люди в самом прямом смысле слова – братья, и, оскорбляя чужих предков, ты обязательно плюнешь в себя самого. Автор не хотел никого оскорбить, и если обидел кого ненароком, то ещё раз просит за это прощения.

Теперь немного о нравах. «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный» всегда оборачивался межнациональной резнёй. Движение Богдана Хмельницкого сопровождалось небывалыми еврейскими погромами, Разин целыми аулами вырезал татар и калмыков, те в свою очередь срывали гнев на безоружных русских мужиках. Что делать – такое было время.

Я понимаю, что берусь разрушать привычный образ сусальной Руси, но ведь очевидно, что наши предки были так же жестоки и вероломны, как и их соседи. Иначе они просто не выжили бы. Семейный быт отнюдь не отличался мягкостью, достаточно заглянуть в «Домострой», чтобы убедиться в этом. Ныне эта книга считается средоточием всего непригожего, а ведь в ту пору она унимала от самых мерзких проявлений тогдашней жизни. Естественная тяга человека к полигамии в христианской России принимала уродливые формы снохачества, судебные журналы XIX века переполнены подобными делами, в XVIII веке об этом уродстве гневно писал Ломоносов. Думаю, что и в XVII веке дело обстояло не лучше.

Недоумение может вызвать и написание в романе некоторых слов. В первую очередь это касается имени Христа. До 1654 года официальная русская церковь писала его: «Исус». Староверы пишут так до сих пор. «Умрём за единый аз!» – призывал Аввакум. В зависимости от чьего имени идёт рассказ, я употребляю оба написания. Герой романа покинул родину задолго до Никоновых новин. Неудивительно, что он читает «Верую» на староверческий лад. В ту пору это было единственно возможное чтение. Никакого иного подтекста здесь нет.

В русской грамматике в середине предложения с заглавной буквы следует писать только имена собственные. Положение изменилось в Петровскую эпоху, когда появилась масса переводов с немецкого языка, в котором все существительные пишутся с заглавной

буквы. В книгах того времени можно найти такие «имена собственные», как: Испанцы, Немцы, Дикари и даже «поганные языческие Боги». С тех пор установилась дурная традиция в угоду политикам некоторые слова писать с заглавной буквы: Государь Император, Генеральный Секретарь, Православная Церковь, Коммунистическая Партия и т. д. Автор решительный противник подобного лизоблюдства. Когда мы пишем существительное «бог» с заглавной буквы, то либо пишем по-немецки, либо подразумеваем, что это имя собственное. Для атеиста подобное отношение смешно, для верующего – греховно, ибо сказано: «Не помяни имя божье всуе». Сказанное особенно касается выражений типа: «а Бог его знает». Эта фраза полностью синонимична словам: «а Чёрт его знает» или «а Хрен его знает». Подобная бессмыслица с точки зрения христиан просто кощунственна, ибо подразумевает наряду со всемогущим и всеведущим Богом существование всемогущего и всеведущего Хрена (или кого иного на ту же букву). Автор – убеждённый атеист, но не богохульник, и потому все подобные слова пишет со строчной буквы. Исключением является слово «аллах». Русская ментальность и тогда, и сейчас подразумевала, что это ИМЯ мусульманского бога, вполне отличного от бога христиан. Подобное суждение, конечно, не верно, но против менталитета не попрёшь. Пусть будет имя собственное.

И, наконец, слово «украина». В русском языке семнадцатого века это обычное существительное. В Российском государстве было немало украин: Украина Терская, Украина Сибирская и т. д. Примерно в это же время казаки Малороссии, желая подчеркнуть принадлежность своего края к России, стали называть его просто «Украиной», то есть российской окраиной. Таковы факты. Если я обидел ими патриотов нынешней Украинской республики, то третий раз покорнейше прошу меня простить.

В любом случае главным в романе является итог, к которому вместе пришли автор и его герой.

Часть I

И укорял народ Моисея и говорил: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете Господа?
Исход, гл. 17, стих 2

И возгласят обитатели огня к обитателям рая: пролейте на нас воду или то, чем наделил вас Аллах! Они скажут: Аллах запретил и то и другое для неверных.
Коран, сура 7: Преграды, аят 48

Пророк Магомет словом своим освободил находящихся в дальней дороге от особой пятничной молитвы. И всё же, едва наступил урочный час, Муса знаком остановил караван и, расстелив коврик, опустился на него, обратившись лицом в сторону святого города Мякки. Милостив Аллах и воистину даёт тем, кто просит. Семён отошел в сторону, чтобы лежащие на песке верблюды прикрывали его от творящих молитву бусурман. Прости господи, что за народ негодящий!.. Сейчас бы идти и идти, пока жара спала, а тьмы ещё нет, а они намаз творят. Только выручит ли молитвенное стояние посреди страшной пустыни Руб-эль-Хали? Тут вернее самому не плошать. Боже правый, боже крепкий, боже сильный, помилуй мя.

Пятый день малый обоз ыспаганского купца Мусы пробирается сыпучими песками. Хоженные тропы лежат далеко на юге, но там сейчас пути нет: оманский владыка повздорил с турецким султаном, самого себя султаном нарёк и загородил караванные ходы, мня задуть всю индийскую торговлю. Теперь мимо нагорья, где и воду в пересохших вади можно сыскать, где растёт верблюжье лакомство: зелёная хада, – не пройдёшь. Хороши оманские финики, да и колья у султана остры. Только попадись торговый человек на юг от Маската – как раз угадаешь в зиндан, а там и на кол – улаживать последним стоном нежные ушки султанских жён.

Султану турецкому да султану делийскому от тех прегордых оманских мнений ни жарко, ни холодно – индийская торговлишка уж сто лет как морем идёт и всё больше португальским да аглицким торговцам попадает, а вот купцам хорасанским да ыспаганским, что по всему мусульманскому миру караваны водят, вящая погибель наступила. Не пройти в Йемен, не продать белых ослов и дорогих беговых верблюдов, не вынести на базар тюки с цветными иракскими муслинами и прозрачной кисеёй, не переслать тяжёлого груза красной меди и оловянных слитков, не протащить, спрятав на груди, мешочка с розовым бахрейнским жемчугом. И назад не провезти ни ладана, ни благоуханной мирры, ни ароматного кофе, выращенного на горных террасах, ни лучшего в мире арабского золота, ни тиснёных кож, ни кривых садрий с роговыми рукоятями и палевым узором закалки, что струится вдоль лезвия. А не станет торговли – не будет и барыша. Как с этим торговцу смириться?

И вот Муса, ыспаганский гость, очертя голову и положившись на милость Аллаха, рванулся ходом через адскую пустыню, страховидную преисподнюю, где и саламандра огнём сгорит, и ехидна иссохнет.

Сначала шли обычным путём: отправились из Басры и через три недели были в Дамаме, арабском посаде, что лежит против Бахрейна. Там для идущих сухим путём купцов ярмарка бывает. На торгах по дешёвке прикупили всякого товару – конкурентов нет, и цены стоят низкие. А куда с этим товаром деваться? Так и соблазнил шайтан Мусу идти напрямиком.

Первые три дня шли солончаками. Песок от соли слипся, будто морозом схвачен, поверху – ломкая корочка. Пыль на губах горькая, и что в рот ни возьмёшь – всё горьким кажется. Потом почва стала хрящевата, неровными голышами усыпана: идти по ней – вели-

кая тягота. Зато воду нашли – колодец Каламат-абу-Шафра. Там верблюдов поили и снова в путь тронулись.

А теперь идут, и конца-краю не видать песчаному окияну. Волной песок подымается, с волны под гору идёт. Полдня на этот вал сыпучий ползёшь и веришь, что перелезешь гребень, а за ним глубокий провал, ископыт великая, след проехавшего исламского богатыря. Где ударил копытом могучий конь Тулпар, там разбросан мёртвый песок на два и на три ашля в глубину, и на дне бьют медовыми струями ключи, дрожат пальмы перистым листом: фард, халас, ханаизи – слаще фиников нет.

Но одолеешь один бархан, а за ним второй, точнёхонько как первый: жёлтый песок выглажен ветром, и рябь по песку пущена, прям как в пруду. Потом красный песок пойдёт – ровный, улежалый. На нём верблюжья колючка прозябает: торчат из песка хрусткие корявины, живые ли, мёртвые – не понять. На галечниковых регах разбросаны колючие подушки каперсов и манны. Зимой, когда прохладный шемаль порой приносит дожди, сухие ветки наливаются соком, взбухают зелёными почками. Арабы каперсы едят, а весной присохшей манной пробавляются. И Семён вместе с ними ел. Поначалу странно казалось, а потом привык. Даже к саранче, кузнечнику сушёному, и то привык. Человек – тварь живучая, ко всему привыкает.

Другого произрастания в пустыне нет, а звери водятся, но тоже прескверные, бесовы твари: скорпионы да фаланги ядовитые. Редко когда проскачет прыгучая песчаная мышь – тушканчик, да метнётся за ним фенёк – серая лисичка с большими ушами. А всё красным песком идти веселее, в пустыне и скорпиону рад.

Зато уж когда белый песок начнётся, чистый, словно скалкой раскатанный, тут уж верблюда за повод хватай и поворачивай обратно, иначе ждёт неминуемая гибель. Зыбь там, топкое место, бахр-эс-сади. Утянет путника в сухой песок, как в трясину, и до самой архангеловой трубы никто его уже не узрит.

Семён сидел, привалясь к верблюжьему боку, смурно глядел на урезанный барханом окоём. От верблюда тянуло густым смрадом, но Семён не отодвигался – принюхался давно, за столько-то лет.

Молельщики бормотали неразборчиво, слитным гудением, словно пчелиный рой. Семён, не слушая, безотчётно повторял в уме их молитвы. Любят мусульмане молиться в голос, напоказ: тут и не хочешь, а все их моления вызубришь. Ох, грехи наши тяжкие! Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, боже, твоею благодатию.

Солнце перед закатом мутное, изгоревшее за день, уже не палит, как в полдень, и жар идёт только от нагретого песка. Дышать тяжело, будто перед грозой. Только дома грозою земля умывается, воздух свежеет, а здесь от Аллаха такой милости не дождёшься, зря Муса глотку дерёт.

Рассеянный взгляд отметил вдали какое-то шевеление. Семён сначала не вник, продолжал думать о своём, но потом встрепнулся, поднял голову, всматриваясь, испуганно перекрестился. Никак накаркал: посылает Аллах дождичка – с громом и молнией, да только без водицы. Край неба почернел, стеной задрался и замер как бы в неподвижном ожидании. Но тому, кто разбирается, ясно – спокойствия тут нет, а одно помрачение чувств. Ещё минута, и налетит песчаная метель – самум. Господи, помилуй рабов твоих! Пеняйте, правоверные, Аллаху и пророку его Магомету!

Семён вскочил, заставил подняться верблюда.

Куда бежать? Где прятаться? Раз в жизни видел Семён гнев восточного бога, чудом выжил в прошлый раз и теперь не знал, как поступать перед лицом жгучей смерти.

Многолетняя привычка повелевала молчать, покуда хозяин выстаивает молитву, но всё же Семён не выдержал и закричал:

– Буря!

Муса, молитвенно сложивший руки у груди, и ухом не повёл в ответ на крик раба, но мавла Ибрагим, чернокожий абиссинец, обернулся и вскочил, нарушив пятничное благолепие.

– О, Аллах!

Семён уже бежал вверх по бархану, стремясь уйти как можно выше. Там сильнее ветер и будет труднее дышать, но тех, кто останется в низине, засыплет песком, когда двинется по ветру недвижная покуда волна. Верблюд колыхал следом опавшими от недокорма боками. Он тоже почуял беду, и его не надо было торопить и понукать.

Тьма на горизонте больше не казалась стеной, она клубилась и не приближалась, а словно взбухала, заглатывая небо и землю. Вокруг было тихо, хасмин – палящий ветер – улёгся, паутинка не колыхнётся, но воздух как бы приготовился взвыть и звенел от томительного ожидания.

Семён обхватил верблюда за шею, уложил на песок, сам повалился рядом, ткнувшись в вонючий верблюжий бок и поджав ноги, чтобы можно было, коли милует господь, со всей силой выбираться из песчаной могилы. Он ещё успел запахнуть лицо краем куфии, а потом сверху обрушился первый удар.

Семён ничего не видел и, сберегая глаза, не пытался подсмотреть. Он лишь услышал нарастающий рёв, словно все джинны, заточённые царём Сулейманом, разом вырвались на волю и бушуют, стараясь сокрушить миропорядок. В первое мгновение Семёна стегнуло ветром, потом он почувствовал, как обжимает тело копящийся вокруг преграды песок.

Верблюд судорожно дёргался, несколько раз порывался встать, но ветер валил его обратно. Семён бился в такт рывкам животного, понимая, что только в заветренном месте, под прикрытием верблюжьей туши можно умудриться чем-то дышать. А то ни куфия не спасёт, ни густая борода: набьётся пыль в горло, нутро иссушит так, что и червь могильный в тебе пропитания не найдёт – останешься лежать в песке нетленными мощами.

Семён не помнил себя, не понимал уже, что с ним творится, а вскоре и рыпаться перестал, придушенный ожигающим небытием.

Сознание не возвращалось, некуда ему было возвращаться, просто затосковала истекающая душа, и Семён на минуту почувствовал, что лежит плотно зажатый и нет ни воздуха, ни иного поддержания жизни. Тут бы самое время смириться, отпустить душу к отцу небесному, благо что мера страданий перейдена, и нет для него ни боли, ни жары. Мирно отойти можно. Но Семён напрягся зачем-то, заколотился, стараясь разбросать песок. Песок не пускал, однако с одного края оказалось податливое брюхо верблюда. Туда и устремил Семён свои усилия, словно в самое чрево хотел вползти. Верблюд с хриплым стоном поднялся, и следом родился из песчаной тьмы Семён.

Вокруг следа не было пыльной выюги. И вообще – никакого следа. Вылизало ураганом пустыню, загладило, заровняло. Стронулись барханы, перемешалась тьма тьмущая песка, но вот кабы знать, как его, песок, различить? – а то какой была пустыня, такой и осталась. Только каравана нет: ни людей, ни выючных животных – никого. Как не жил на свете торговый человек Муса Каюм-оглы из далекого Ыспагана.

– А-в-ва-а!.. – заунывно потянул сзади тонкий голос.

Семён оглянулся. Поодаль сидел на корточках мавла Ибрагим, качался, закрыв глаза, тянул тоскливую ноту – то ли плакал всухую, то ли молился по-своему, по-эфиопски, отвергнутому когда-то Христу.

– Брось, успеешь ещё оплакать, – произнёс Семён, с трудом двигая растрескавшимися губами. – Сейчас надо живых искать и выюки. Бурдюки должны быть с водой.

– Какая вода? Какие бурдюки?.. Лучше сразу умереть. Ав-ва-а!..

Серый холмик чуть в стороне зашевелился, рассыпаясь ползучими струйками, и следом за поднявшимся верблюдом выполз уцелевший в пляске джинов купец. Громко всхрап-

нул, очищая глотку, двумя пальцами распушил крашенную хной бороду, так что набившийся песок осыпал его широкую грудь, и громко, словно не лежал только что заживо погребённый, провозгласил:

– Хвала Аллаху милосердному!

Затем, не меня выражения лица, закричал:

– Чего расселись, неверные? Товары ищите, верблюдов! Живо, шайтан вас раздери!

Мавла послушно прекратил плакать, и все трое принялись тропить по склону следы, призывая откликнуться живых и отыскивая умерших.

* * *

Всего уцелело восемь человек и двенадцать верблюдов – меньше трети обоза. Нашлось кое-что из поклажи, но ни одного бурдюка с водой отыскать не удалось. А это значит, те, кто выжил, – тоже мертвы, но сначала намучаются как следует на радость злобному Иблису и слугам его.

Словно в насмешку отыскились кажевасы с пустыми бурдюками. В каждый Муса самостоятельно заглянул: не осталось ли в складках немного воды. Сухи были бурдюки и безнадёжен завтрашний день. А послезавтрашнего дня для них и вовсе не будет.

Можно, конечно, заколоть верблюда, достать пузырь... Но животное два дня не поена и пыльную бурю под песком отлежала; не найдётся в пузыре воды, одна горькая слизь.

– Помолимся Аллаху, подателю благ, – предложил Муса, и правоверные послушно вернулись к прерванному пятничному молению. Поистине, кого Аллах собьёт с пути, для того не найдёшь дороги.

Семён не стал толочься поблизости, а пошёл в сторону, внимательно глядя, не вспучится ли где песок над лежащими телами. Живых найти надежды больше нет, а вот отыскать бы бурдюки с водой, хотя бы пару... Глядишь, и пособит господь доползти к Аль-Джухейшу.

Вскоре плавный изгиб бархана скрыл его от уцелевших, и Семён остался наедине с Аллахом. Небо, обычно лиловеющее перед закатом, сегодня потчевало взор всеми красками торговых шёлковых рядов, от густой вайды до пурпура. Самум ушёл, но ещё много дней пыльный туман будет расцвечивать закаты, блазнить взгляд обманчивыми разливами мелкой воды.

Внизу, на самом дне шакки – узкого провала, разделяющего дюны, – Семён углядел какое-то пятно. Вряд ли это кто из их каравана, не успел бы домчать туда испуганный верблюд, скорее лежит на каменистом дне выщелбленный валун, или обнажил ветер допотопную постройку: щерится в небо зубец каменной кладки, чудом уцелевший, словно одинокий зуб в стариковском рту. Не раз в своих скитаниях Семён встречал такие развалины, однажды даже монетку подобрал у стены. За тыщу лет она ничуть не заржавела и была как вчера чеканена. Медная денежка с надписью на неведомом, давно умершем языке и крестом на лицевой стороне. Значит, и тут христиане жили, уповая на господя, веруя, что даст им пищу ко благовремени, а получили только песка на могилы мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною. А может быть, прав Ибрагимка, когда врёт, будто был здесь рай земной, а после согрешения Адамова в гневе выкорчевал господь сад, порушил строения, солью и песком засыпал, чтобы памяти не осталось от прежней лепоты. А потом отдал проклятые места на поругание язычникам. Боже, милостив буди мне, грешному.

Хотя до странного пятна оставалось саженой двести, Семён пошёл вниз. Ясно, что нет там ничего, а не посмотришь – покою не будет. Изноёшься, думая о брошенных бурдюках.

Подойдя ближе, остановился, склонил покрытую голову.

Словно в насмешку пески Эль-Джафура отдёрунули перед ним завесу будущего, показав, что вскоре станется и с теми, кто уже схоронен под слоем пыли, и с теми, кто скоро ляжет туда.

Колючий песок ещё не стёр с костей высохшую плоть, и мертвец лежал перед Семёном во всей своей загробной красе, обняв чёрной сморщенной рукой провалившийся круп коня. Должно быть, знатен был умерший, велик при жизни своей, и конь его даже сейчас поражал тонкой стройностью бабок и горделивым изгибом шеи. А ныне сгрудились погибшие у ног Семёна, ничтожней стервятника и ползучего гада, и даже прахом рассыпаться не попускает им господь.

Семён наклонился, безо всякого страха заглянул в пустые глазницы. Чего пугаться-то? – скоро сам так же ляжешь. Только вместо парчовых отрезков будут висеть на костях обрывки простого бурнуса.

А богат был покойник, ничего не скажешь... как же занесла его нелёгкая сюда, в смертный край? Может, как и Семён, с караваном забрёл, а может, закинула давняя, позабытая война. Всадник-то не пустой встретился, при оружии...

Семён осторожно потянул украшенную золотой насечкой рукоять, что торчала из-под локтя лежащей мумии. Секунду рукоять не поддавалась, словно мертвец не хотел отдавать меча, но затем клинок вынулся из ножен, радуя глаз мелким узором, подобно змее, сменившей кожу и спешащей за первой в новой жизни добычей.

Затаив дыхание, Семён поднёс клинок к глазам. Он не думал о том, где стоит и что недолго ему владеть этой саблей. Сейчас он любовался клинком. Металл был неказист, серовато-жёлт и, где-то за пределами зрения, испятнан крапинами и паутинными завитками, незаметными – серое на сером. Но для того, кто понимает, нет вещи драгоценней. Что там золотая насечка, что ножны, изукрашенные дорогими камнями!.. Главное сокровище – невзрачная серая полоса, несущая смерть супротивнику. Такие сабли во всём подлунном мире наперечёт. Это не дамаская сталь – хитроумная подделка, что в такой цене у незнающих западных купцов, и даже не сорокоструйный персидский булат «кирк-нердебан», где серые нити тянутся вдоль клинка, словно расчёсанные гребнем. Персидской работы оружие Семён видывал и даже в руках держал. Спору нет – добрые клинки мастерит шахов оружейник Асадуллах, но эта получше будет. Ни в Кандагаре, ни в Ширазе такого делать не умеют: только в Кашмире варят серый булат, и случается, знаменитый мастер годы тратит на одну такую саблю. Зато и сноса ей нет. На пробу владелец рубит саблей железные гвозди, а потом роняет на лезвие женский волос, и, коснувшись незатупившегося острия, он сам, под тяжестью своей, распадается на части.

Знатнейшие из знатных мечтают об индийском булате, а достался он ыспаганскому невольнику, русскому мужику Семёну Косорукому. Хотя и мужику кой-что ведомо: недаром пять лет обучался военным премудростям в анатолийской школе аджами огланов, откуда султан набирает янычар для своего личного булука. С полувзгляда угадал Семён, что послал ему Аллах за день до мучительной смерти.

И хотя не с кем биться в пустых песках, а неверному рабу и простого ножика иметь не велено, не то что сабли, но, раз ухватив ловкую рукоять, Семён уже не мог расстаться с оружием. Сухая смерть – это как Аллах решит, а сабли он не отдаст.

Семён осторожно попытал клинок: верно ли так гибок, как говаривал однорукий учитель Исмагил ибн Рашид? Сабля послушно согнулась кругом, и в рукояти нашлось углубление, куда можно вставить остриё, обратив оружие в пояс. Семён отпустил руку, клинок с певучим звуком распрямился, готовый к бою.

С такой вещью в руках и умирать не надо. Жаль, и самой острой саблей не выбить воды из сухого песка.

Семён скинул бурнус, поверх рубахи и шальвар обогнул саблю, так что наведённый золотом крыж обратился в подобие диковинной пряжки, и намотал сверху полотняный пояс. Вот и скрылась сабля под бедным рубищем, как не было. А дорогие ножны, золото да яхонты пусть остаются где лежали. Кому они тут нужны, разве что демонам преисподним.

* * *

Муса всё ещё выстаивал на коленях перед непреклонным богом. Счастливы верующие, которые соблюдают свои молитвы. Это они наследуют рай, и в нём они пребудут вечно.

Верно, и Муса оставил земное, возжелав садов, где внизу текут реки. Так пусть радуется своей сделке, которую заключил с Аллахом. Ведь это – великий успех! – так сказал Магомет в песне о покаянии.

Семён вернулся незамеченным и опустился в длинной тени верблюда.

Завтра умирать, а у Семёна на душе спокойно, словно только что жизнь к добру повернула. И, только увидав хозяина, понял Семён, чему радуется. Сегодня отдал Аллах ыспаганина в Семёновы руки, и плевать, что всего на день можно укоротить зловонную жизнь Мусы. Но раз уж въявь подошла гибель, то прежде в её глаза насмотрится рыжебородый купчина. Теперь, когда бёдра отягчает булат, шестеро караванщиков не станут преградой меж Семёном и жирным кадыком Мусы-ыспаганца.

Семён приподнялся на локте, чтобы наполнить взор видом обречённого хозяина. Муса, окончивший беседу с богом, всё ещё стоял на коленях. Истовое лицо было тёмно, как у человека, обманутого в ожиданиях. Руки Муса держал ладонями вверх, и на дрожащей ладони Семён различил блеск серебра.

Что за диво? С каких пор правоверный мусульманин молит Аллаха с деньгами в руках? Или и впрямь вздумал Муса заключить сделку со всевышним?

Тяжело вздохнув, купец спрятал монеты, поднялся и сказал:

– Отдыхайте, правоверные. Завтра рано выйдем.

Что ж, завтра у Мусы ещё будет день. Грешно было бы убивать его сейчас, лишив завтрашних мук. Завтра вечером, не раньше, обнажит Семён свою саблю.

Семён склонил голову на песок. Войлок, который служил постелью, тоже пропал, ну да это не беда, здесь и ночами холодов не случается. Можно переспать и на песке: кто пробовал, тот знает, каков бокам мягкий песочек.

Мавла Ибрагим подсел рядом, испытующе заглянул в лицо:

– А ты, Шамон, молился?

– Молился, – недружелюбно ответил Семён.

Любопытный вольноотпущенник мешал сладким мыслям о близящейся расправе, к тому же Семён вообще недолго любил мавлу. Ибрагимка рассказывал, будто прежде он тоже был христианской веры, но после того, как взяли его магометане, уверовал в Аллаха, и Муса отпустил его, даровав вольную. Мавле и впрямь жилось куда как легче, нежели Семёну, которого Муса угнетал хуже, чем хозяйка гнетёт солёные грузди. Но рассказам о христианстве Ибрагима Семён не доверял: какой же он христианин, когда чернее чёрта? Правда, в Йемене, в несторианской церкви, арапов куда как много, но то вера не настоящая, они и троицы святой не знают. И всё-таки пример мавлы вечным искусом стоял перед Семёном.

– Это хорошо, что молился, – неожиданно сказал Ибрагим. – Исса Христос был среди сынов Сулеймана ибн Дауда, христианской молитвы джинны пустыни боятся больше, чем Магометовой. Сам погляди: ты остался, я остался, а других почти и не осталось...

– Ты никак снова веру менять решил? – спросил Семён. – А не помнишь, куда Аллах обещал повести тех, которые уверовали, потом отреклись, потом опять уверовали и вновь отреклись, усилив неверие?

– Я так не говорил! – заторопился мавла. – Я только хотел сказать, что крещение-то осталось, куда оно денется?

– А-а!.. – насмешливо протянул Семён. – А я-то льщусь, что обратил тебя!..

Легко Семёну насмешничалось, и искус пропал: перед костлявой все равны, даже Христос смерти повинен был, хоть и поправил смерть смертью же.

И, не торопясь, с расчётом, Семён так просто, между делом полубопытствовал:

– Слушай, Ибрагим, а чего это хозяин сегодня намаз не по всегдашнему творил: серебряниками брякал, будто с Аллахом торговался?

– О-о!.. – прошипел чернокожий. – Это великая тайна! Туареги о ней шёпотом рассказывают, и корейшиты не смеют вслух произнести.

– Верно, и впрямь тайна велика, коли всем известна, – заметил Семён, не боясь, что мавла обидится и умолкнет: болтливость абиссинца была сильнее обид, и при всяком удобном случае он погружался в пучину пустословия.

– Есть среди божьих угодников один, имя которому Аль-Биркер, – начал Ибрагим. – Персы называют его Дарья-баба, что значит – водяной старик. Вид его странен, а житьё неведомо. Никто не знает, где он появился на свет и кто были его родители. Но когда Аль-Биркер достиг совершенных лет, враги изгнали его род в пустыню. И там умерли от жажды все его родные: и отец, и мать, и братья, и сёстры, и дяди по отцу, и их дети, и вся родня со стороны матери, и все друзья и дальние родственники, так что в конце Аль-Биркер остался совсем один и шёл по пескам, мучимый солнцем. Но сильней полуденного зноя мучило Аль-Биркера неутешное горе. И тогда встал Аль-Биркер, праведный перед Аллахом, и произнёс такие слова: «Когда бы здесь появился чистый колодец, я бы не стал из него пить, пока не напоил всех жаждущих. И если бы волей Аллаха открылся свежий родник, я бы не коснулся его губами, покуда есть на свете гибнущие без воды». И Аллах услышал слова праведника и разверз перед ним грудь пустыни, показав реки, что текут внизу, и подземные источники. И Аль-Биркер спустился и зачерпнул воды, но не стал пить, а понёс людям, молящим о спасении. С тех пор он божьим соизволением носит по миру воду. Дарья-бабу видали не только здесь, но и в Сирийской пустыне, и среди песков Большого Нефуда, и в знойной Сахаре, и на солончаках Деште-Кивира. Всюду, где люди страдают без влаги, является святой Биркер и приносит холодную воду подземных рек. Несчётное число лет прошло с тех пор, мир изменился, и даже языка святого угодника никто уже не понимает, но до сих пор Аль-Биркер не может напоить всех людей, сколько их есть на свете. Велик труд его перед Аллахом и несомненны заслуги, ибо сам Дарья-баба не выпил ни капли из той воды, что он носит людям...

– За что же такое проклятие? – не выдержал Семён. – Так и последнего грешника наказывать жестоко.

– На святом водоноше нет проклятия, – поправил Ибрагим. – В любой миг может он вдоволь напиться воды и уйти в сад блаженства, где давно приготовлено ему место среди избранных. Но он продолжает своё дело, получая малую плату: один дирхем за полное ведро воды. В городе в базарный день вода стоит дороже. Никогда Дарья-баба не просил денег и никогда не брал больше, чем один дирхем. Люди сами кладут монету в пустое ведро, чтобы это серебро свидетельствовало перед Аллахом о достойных делах.

– Хорошая сказка, – сказал Семён. – Сладко будет вспоминать её, подыхая на солнце-пёке. Жаль, правды в ней мало.

– Не смей так говорить! – вскинулся мавла. – Всё правда! Я об Аль-Биркере ещё дома слышал.

– Мы с тобой на пару пятнадцать лет песками бродим, – сказал Семён. – Так почему ни разу допрежь водоношу не видели?

– Прежде крайнего случая не было, а теперь он подошёл. Вот и молится хозяин с серебром в руках: зовёт Аль-Биркера.

– Ну что ж, пусть зовёт, – сказал Семён, положив руку на пояс, где твердел согнутый булат. – Поглядим, поможет ли ему водяной старик.

* * *

Едва утро разукрасило пески в цвета фламинго и магнолии, обречённый караван тронулся в путь. Надежды добраться к колодцу не было, но всё же пока человек идёт, он жив. А Семёном двигало ещё и радостное любопытство: посмотреть, как станет умирать Муса, полтора десятка лет водивший его в ошейнике раба.

Но Муса шёл неумоимо, словно не поднималось на небосклон яростное солнце, от которого не было защиты и спасения. Даже дневной остановки не позволил ыспаганец, и два верблюда пали, а один из людей умер, сожжённый солнцем, и труп его остался позади.

И вновь настал вечер, а поскольку не было у людей никакого пропитания и не могли они ни приготовить мягкую джерату, ни заварить терпкий гирш, возвращающий силы усталым, то оставалось им уповать на неизреченную волю Аллаха.

– Помолимся Аллаху милосердному, – приказал Муса, распустив на брюхе широченный поясной платок – бельбаг и расстилая его вместо пропавшего молитвенного коврика.

Семён привычно двинулся прочь. Ему хотелось ещё раз полюбоваться своим сокровищем и окончательно назначить: сейчас брать Мусу или позволить ему прожить ещё ночь и порешить при свете дня, когда меньше верится в смерть и тошнее умирать.

Но уйти не удалось. При первом же Семёновом шаге Муса зыркнул недобрый оком и, щеря почернелые от шербета зубы, проклекотал:

– Куда наметился, свиное ухо? Здесь стой, со всеми вместе. Аллаха молить надо, чтоб живыми из песка выйти.

– Я не мусульманин, – покачал головой Семён, – Магомета не знаю и молитвам вашим не учён. Верую во единого бога отца вседержителя, творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого господа Иисуса Христа, сына божия, едиnorodного, иже от отца рождённого прежде всех веком. Света от света, бога истинна от бога истинна, рожденна, а не сотворенна, единосущна отцу, им же вся быша. Нас ради человеком и нашего ради спасения сшедше с небес и воплотихом от духа свята и Марии девы, и вочеловечшася...

Семён размеренно произносил с детства знакомые строки. Сухие слова падали с губ и пропадали, не понятые бусурманским ухом. Но одно было ясно: непокорствует раб перед своим господином, творя злые речи и обращая знамения Аллаха в насмешку. Это о таких сказал пророк: «Смирять их и ударяйте!» А здесь, перед лицом смерти, смирять непокорного можно только смертью. И Семён, как бы невзначай, положил руку на пояс, готовясь к давно лелеемой битве. Что же вы, верные, ступайте, возьмите раба, если прежде он не возьмёт у вас остаток жизни.

Но Муса, скривившись, будто соку хлебнул от незрелого граната, всё же не ударил Семёна и не крикнул ничего, а произнёс согласно:

– Молись, Шамон, Иссе-пророку, деве Марьям – молись как умеешь. Не даст Аллах воды, завтра все умрём, – и, отвернувшись от Семёна, грузно опустился на коврик.

Секунду Семён стоял недвижно, затем тоже преклонил колени на горячем песке.

– Бисмаллаху рахмону рахим!.. – заголосили мусульмане, и Семён в мыслях вторил им:

– Отче наш, иже еси на небесех...

Немилосердное аравийское солнце клонится к вершинам барханов, калит пересушенную землю, плавит мысли, высушивает разум, готовя путника встречу злому ангелу Азраилу. Это на Руси солнышко жизнь обещает, а здесь – смерть. Плывёт перед глазами песчаная степь, переливается зноем, дрожит в миражном мареве, сплетается изумрудными струями, будто речка звенит, перебирая на перекате гальку.

– ...хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Не надо хлеба – воды глоток: смочить шершавый язык, ободранное песком горло... Ныне и впрямь остаётся ждать Аллахова угодника, баснословного Дарья-бабу. Только где его найдёшь в нынешнем веке, где токмо прелесть, и тля, и пагуба...

– ...не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

– О-омин! – нестройно завершили бусурмане свою ложную мольбу.

И словно стон пронёсся над склонёнными людьми, полувскрик, полувывдох, словно сама пустыня вздохнула, и заплакали хищные дэвы и джинны, удаляясь в страхе от мест, где справедливо почитали себя владыками. Жаркий воздух сгустился, искрясь слюдяными блёстками, взвихрился бегучими смерчками песок, и из пустого места ступила встречу молящимся человеческая фигура, дрожащая и прозрачная, как полуденный мираж. Видение сделало шаг, наливаясь плотью, и Семён воочию увидел перед собой Аллахова угодника. Седой старичок, нездешне, до невозможности знакомый: в лаптях, пестрядинных портах и драном армячишке стоял под аравийским небом, держа в руках две бадейки, полные чистой, студёной колодезной воды. И ангел смерти Азраил шатнулся прочь, отогнанный волшебным водоношею.

– Пейте, добрые люди, – сказал старик, ставя вёдра перед Мусою.

Муса, не глядя, протянул назад руку, щёлкнул пальцами. Немедленно явились бурдюки с широко развёрнутым горлом, чтобы капля драгоценной влаги не пропала. Воду мигом перелили, опорожнив диковинную для восточного человека посудину. Тонко дзенькнули серебряные монеты, упав на деревянное дно.

– Хвала Аллаху, – перехваченным голосом выговорил Муса.

И только тогда помрачённый Семёнов разум осознал, что Дарья-баба произнёс свои слова по-русски, а сейчас, прямо сию минуту, водяной старик заберёт вёдра и исчезнет навсегда, оставив Семёна здесь, в неисповедимой дали от родных мест.

– Батюшка! – выкрикнул Семён, приподымаясь. – Милостивец родной – не оставь!

Старик вздрогнул, шагнул вперёд, вглядываясь в Семёново дочерна загорелое лицо, не узнавая русского человека под арабским иглем.

– Свой я, православный, тульский! – рыдал Семён.

Караванчики застыли, не понимая чужой речи, но видя несомненное и страшное богохульство в том, что раб и чужеплеменник осмелился дерзновенно нарушить обычай и обратиться к святому отшельнику с безумными и непотребными речами.

Старик подошёл к Семёну, положил прохладную ладонь ему на лоб, потом оглянулся назад, на что-то видимое лишь его взору.

– Успокойся, – сказал он, – сегодня уж поздно, а завтра за час до заката я приду, принесу им водички и заберу тебя отсюда. Жди.

Старик поднял пустые вёдра и, единожды шагнув, растворился в зыбком мареве, струящемся от нагретого песка.

Муса медленно повернул свирепое лицо.

– Шакал! – задыхаясь, пролаял он. – Пададь вонючая... Отродье гиены!.. Ты дерзнул?... Язычник, мушкири... грязным языком опорочить посланца Аллаха в ту минуту, когда он требовал торжественной тишины? Я скормлю тебя паукам! Твою печень сожрут скорпионы!

– Откуда тебе ведомо, чего он требовал? – весело спросил Семён. – Или ты уже и по-русски начал понимать? Это же наш человек, христианин! Не тебе судить, чего он хотел. Я с ним говорил, не ты, кровопивец, мне и разуместь, чего он требовал...

Лицо Мусы постепенно наливалось рудным цветом, рука слепо шарила за кушаком рукоять сабрии. Этого и хотелось Семёну: ему хватило бы мгновения, чтобы вырвать из-под бурнуса изострённый булат.

Ну же, Муса! Твоя смерть ждёт тебя, поспеши, восстань на раба и получи лютейшее отмщение за все минувшие обиды. И не уповай на милосердную скорую смерть: семижды семьдесят раз будешь умирать на жёстком хряще пустыни.

Рука уже ждала на индийской рукояти, но тут Семёна как дрествой продрало – вспомнил слова чудесного старца: «Завтра приду, им водички принесу...» А если не будет к тому времени Мусы и других караванщиков и некому станет чужебесную молитву слать, то сможет ли водоноша слово сдержать? Места тут Аллаховы, и воля его... Нет, пусть уж лучше Муса без отмщения жив останется.

Семён поник головой и, сдержав предеззостный тон, произнёс:

– Дарья-баба обещал завтра опять прийти, воды тебе налить щедро, а в плату меня к себе забрать.

Муса смутился, пальцы выпустили рукоять кинжала. Но ронять лицо перед подначальным Муса не мог и спросил спесиво:

– Ты, Шамон, никак бредишь или от жары сбесился? Даже если святой Дарья и христианин, то тебе в том что за выгода? Магомет истинно сказал, что лишь немногие из людей писания угодны Аллаху. Все прочие веру позабыли и хуже язычников.

– Эфенди, – сказал Семён, – тебе ли не знать, как верую я?

И Муса сдался, простил рабское глуподерзие.

– Ладно, – сказал он, – до завтра – живи. Если и впрямь Аль-Биркер выбрал тебя, я против воли Аллаха не выступлю. Но если... – Муса не договорил и, отвернувшись от Семёна, склонился над бурдюками, по-прежнему неполными, но теперь обещающими жизнь, возможность добраться к человеческому жилью.

* * *

С утра прежним порядком отправились в путь. Только верблюдов не так гнали, и лица у людей были светлее. Надежда – добрый водитель.

К полудню, когда не можно стало выносить горячее солнце, купец объявил привал. Воды в бурдюках было ещё довольно, но Муса не прикоснулся к кожаным мешкам: днём пить – только нутро мучить.

Семён своеобычно притулился к верблюжьему боку, закрыл глаза. Взор намозоленный за день однообразной дорогой, никак не мог успокоиться, представляя под закрытыми веками дрожащие картины, странные, невиданные...

Всякий человек перед сном видит дело своего дня. Когда пахарю, истомившемуся на ниве, удаётся смежить вежды, то бесперечь перед усталым взором комьями рассыпается ораемая земля. Бабе, повалившейся в страдный вечер возле сжатой полосы, вновь представляются хлебные колосья, и рука сама забирает их в жом, чтобы согнуть под иззубренный серп. Даже дети, набегавшиеся по лесу, видят перед сном прошедший день, и никого не удивит раздавшийся вдруг во тьме сеновала голосок: «Ой, девоньки, гоноболь-то какая крупнущая!.. Так бы и брала всю ночь!» И только путнику, шедшему по пустыне, песок не мстится. Воду он видит: озёрную гладь, речные разливы... струи голубеют вдали, играют на мелководье, чистым смарагдом зеленеют в глубине.

Семён в полусонном забытии тоже видел воду. Мелкие камушки, ил, взбаламученный испуганным раком: пряди тины плавно стекают вниз...

Нет ни знойной Аравии, ни пыли, ни верблюдов... Течёт, омывая память, речка Упрейка, струится между зелёными бережками, пробегает мимо родного села, где, должно полагать, и память о Семёне Косоруке простыла. А Семён вот не позабыл ни речки, ни села. Помнит.

* * *

Сельцо Долгое, от Тулы четырнадцать вёрст, – исконная вотчина князей Голицыных, встало при речке Упрейке. Сельцо невеликое: полтора ста душ обоего пола, да и речка сельцу под стать: тёлке напиться, реке остановиться. А так места знатные – дубравные, липовые. Народ живёт не бедный, у кого руки нужным концом воткнуты. Хлеба сеют мало – только себе прокормиться, а на продажу – лён да конопель, да сады ставят. Тульское духовое яблоко на Москве славно, а вишенье и к царскому столу попадает. Так люд и живёт, хлеб жуёт, и всех печалей – чтоб не замечали ни царь, ни боярин, ни лихой татарин.

До осьми лет Сёмка жил за материной юбкой беспечально. И то подумать, какие горести во младенчестве? Что отец по субботам вины вожжами отсчитывает? Так сам же знаешь, что за дело – лишнего батька бить не станет. А работа детская весела – сено граблями ворошить, таскать волокушей кошеное с лесных кулижек. Зимами – куделю трепать, матери в помочь.

Батюшка Игнат Савельич крутёнок был, семью держал в кулаке, гулянки возбранял, а сыновей женил рано, чтобы не избаловались. Вечерами собирал домочадцев у света, читал вслух из божественного, «Четьи-Минеи», а то душеспасительную книгу «Домострой». Грамоте старик Игнат знал изрядно, книги имел и в зимней праздности учил детей азбуке.

Семья была большая, и Сёмка в ней младшенький – материн любимец. А как средний брат Ондруха на Дон бежал казаковать, бросив отцовский дом и жену с детьми, так мать и вовсе к Сёмке прикипела. Сёмке то и любо, век бы так жил.

И тут на самый Новый год, на Симеона Столпника – Сёмка ещё в именинниках ходил, – отец сказал:

– Ну, Сёма, ты теперь большой, девять лет сравнялось, пора тебя женить.

Сёмка сначала не поверил: думал, шутит отец. А ночью услышал, как мать плачет, и понял, что правда – быть к Покрову свадьбе. Поначалу так и лестно показалось – взрослый мужик, жениться собрался, а потом на улице встретили его смешки да хаханьки охальные, так и загрустил женишок. Подошёл к отцу:

– Тятя, ну её к бесу, свадьбу. Неохота мне.

Отец только цыкнул в ответ:

– Молчи, дурошлёр, коли не понимаешь.

А утром разбудил ранёхонько и, усадивши на телегу, повёз в Бородино, в церковь, договариваться о венчании. Так и там Сёмке весь сговор пришлось под окном просидеть, покуда отец с попом беседовали. Поп Никанор поначалу о венчании и слышать не хотел, на отца чуть не криком закричал, страдая мамоною. Сёмка уж надеялся, что батюшка отцовы планы порушит.

– Какой тебе работницы взыскалось, Игнат? Ты об этом кому другому ври, а мне не смей. Покаялся бы!.. По всей волости о тебе слух идёт. Не для работницы младеня женишь, а для блуда своего бесовского!

– Ты бы, батюшка, не того... – угрюмо попросил отец. – Я хочу по закону, по-божески. А коли нет твоего благословения, так мне ладно и одним весельем. У меня уже всё сговорено. Ты сам посуди, много ли народу у тебя венчается? Кто на хохляцкий манер свадьбы крутит, а кто и по-донски – на площади объявляется, вокруг вербного куста ходит.

– Экой ты скорый, Игнат, в чужом очесе сучец искать, – увещевал священник, – допрежь из своего ока бревно вынь. В Малороссии, под ляхами живучи, православному священству большой перевод вышел, а на Дону попа и вовсе не сыскать, и строение церковное ставить нельзя, страха ради татарского. Где ж им свадьбы путём играть? Вот и обходятся, как умеют. По нужде и закону применение бывает. О том чти у апостола Павла.

– У меня тож нужда, – гнул своё отец. – Дочери замуж разлетелись, баб в доме не стало, как хозяйство вести? Парень скоро в возраст войдёт, всё равно женить надо. Я, перво дело, по закону хочу, по-божески. А уж в долгу не останусь... – Отец принизил голос, забубнил неразборчиво.

– Ох, согрешихом паки и паки! – вздохнул поп, отступаясь.

Венчались на святого мученика Куприяна. В церкви Сёмка впервой увидел свою суженую. Сказалась Фроськой, сиротской дочерью из Болотовки – княжей деревни в сорока верстах от Долгого. Была Фроська на пять лет старше своего малолетка-мужа. Брат Никита утешил Сёмку, сказал, что это ещё по добру вышло. А кабы десятью годами разошлись молодые, так и вовсе бы жить нельзя.

Свадьба получилась невесёлая. Мать утирала слёзы, шепелявила расквашенными в оладьи губами. Фроська ревмя ревела, особенно на следующее утро. Старшие снохи глядели испуганно, Никита напился пьян и ругался чёрными словами. Один отец ходил фёртом, гордый, словно петух.

Когда наутро Сёмка вышел со двора, его стали парни задирать. Добро бы одногодки, с ними он как-нибудь разобрался бы, а то – большие, орясины стоеросовые.

– Эй, женатик! – кричали. – Каково с молодой спалось? – и, не ждя ответа, заливались скверным, с привизгом, хохотом.

А как спалось? Батька в светёлке ночевал.

С тех пор прилепилось к Семёну прозвище: Женатик.

Обидно было. Сначала – просто обидно: чего дразнятся? Потом вроде по привычке, и люди привыкли, кликали без ехидства. А потом подошёл срок, начал Сёмка становиться парнем и уже не детским умишком, а взрослеющим телом припомнил давнюю обиду.

Вечером отец домашних соберёт, жития раскроет, читает умильно, а у Семёна в душе корячится рогатое слово «снохач». На Фроську Семён не глядит, хотя отец давно к ней не ходит: своя супружница есть, и Маринка – Ондрюхина жена заботы требует, а то искудится баба без мужа, ославит на весь мир. Да и здоровьицем Игнат Савельич скудаться начал.

Казалось бы, чего не жить? – а Семёну тошнёхонько, хоть на Дон беги вслед за Ондрюшкой.

– Плюнь, Сёма, – утешал Никита. – Дело твоё житейское, изноет со временем. Ты, главное, бей её, Фроську, чаще. Она баба малахольная, быстро зачахнет, а там и путём жениться можно. Это не то что моя Олёна – её и оглоблей не ушибить. А твою походя известь можно.

Бить жену Семён не стал, не приняла совесть душегубства. Да и поп Никанор, отцов потатчик, не велел.

От тоски и непокою зачастил Семён к попу Никанору в бородинскую церковь. Только там и находил утешение. Под низким куполом смолисто пахло ладаном и горячим воском. Смирным огнём теплились лампадки перед потемнелыми, строгого письма образами. Дьячок, вздыхая, обирал с подсвечников огарки. Семён помогал дьячку, когда случалось – читал за пономаря, во время службы пел церковным многогласым пением. Никанор с дьячком у аналоя одну часть службы ведут, а Семён с дьяком Иосичкой в боковом притворе своё тянут. Изучил всякую премудрость: умел петь путевое и демественное, знаменное и строшное. Обычно миряне службу знают плохо, путаются и порой такое козлоглаголят, что хоть святых выноси. Потому-то Владимирский поместный собор велел прихожанам без особой нужды в церкви не петь. А Никанор Семёну позволял: память у парня хрустальная, ни полсловечка не спутает.

Чинно было в церкви: службу поп Никанор вёл с пониманием, проникновенно, не гундосил, слов не глотал. И по жизни был задушевым пастырем: никого не судил, разве что журил отчески.

– Твоего греха, Семён, тут нету, родителей грех. За него молись, и тебя бог простит. И на супругу сердца не держи, она тож раба подневольная.

А как не держать зла, когда ночами сны приходят искусительные, а на Фроську глаза бы не глядели: шутка сказать – кровь помешается.

– Она твоя жена венчаная, значит, на тебе греха нет. Лот-праведник родных дочерей поял, а праведником остался.

Скажет так, смутит всего, а потом учнёт рассказывать о непорочном монашьем житии, о пустынных, столпниках и иных святых старцах. От таких рассказов душу переворачивает и взыскуешь града небесного. Премного утешения находил Семён в древних примерах. Святой Антоний-отшельник в пустыне египетской также плотью искушён был, а с молитвой превозмог искусы.

Семён завёл лестницу, подумывал и вериги надеть для смирения плоти. На Фроську старался глаз не подымать, как монахам предписано. Мечтал о безгрешном житье, да про считался. Игнат Савельич быстро неладное заметил и меры принял.

Семён во дворе возился, поправлял у телеги порушенный передок, когда отец во двор вышел, остановился набычившись и недобро спросил:

– Ты чо кобенишься, Сёмка? Почему с женой не живёшь?

Семён молчал.

– Али погано? – Отец прищурился.

Семён голову склонил, но ответил твёрдо:

– Погано, батюшка.

Отец засипел, словно баран, когда хозяйский нож отворяет тонкое баранье горло. А Семён, нет чтобы в ноги падать, в глаза глянул и попросил:

– Отпустили бы вы меня в монастырь, богу молиться за грехи ваши.

Тут уж отец взбеленился. Забыл и добрую книгу, спасённо чтение «Домострой», что крепко заповедует домашних ничем железным либо же деревянным отнюдь не бить, а, по вине смотря, постегать вежливенько плёткою. Игнат ухватил тележный шкворень из морёного дуба и в сердцах обломил сыну плечо. Потом сам жалел: не дело работника портить. Хорошо ещё, не отсохла рука, токмо покривилась малость. Зато в миру забылось старое обидное прозвище, стал Семён Косорук.

Поднявшись, Семён уже о монашестве не заговаривал – покорился. И с женой обвыкся, не устоял. Слаб человек с естеством бороться, а сладкий грех привязчив. С вечера томно, и в чистоте себя блюсти мочи нет. А как отлепишься от жаркого женского тела, так хоть волком вой. Бывало, Семён сдержаться не мог, совал кулаком в рёбра:

– Чтоб ты сдохла, постылая!

Фроська плачет молча, не смея ворохнуться, а ему не жаль. Стерпелось, да не слюбился.

* * *

А по весне из Дедилина нагрянул княжий приказчик Янко Герасимов. Объяехал Бородино, заглянул и в Долгое. Велел к Акулину дню быть готовым за солью. Уезжать летом с работ никому не хотелось, но и без соли тоже никак. Мужики поскребли под шапками и стали вершить приговор: кому ехать чумаками.

Земля русская солью небогата. Стоят варницы в Галиче, Старой Руссе, кой-где ещё. Но той соли едва себе довольно. Прочие за солью ездят. Вятка и Вологда на Соль-Камскую – у перми покупают. Малороссия – на горькие черноморские бугазы, имать соль у крымчаков. Иные обходятся, где придётся. Под Тулою соли не сыскано, и народ издавна бегал на Дон, где по степи тянутся манычики – солёные озёрца. Ставили варницы, парили тузлук. На обратном

пути за Непрядвой-рекой у Спаса Солёного служили молебн, что попустил господь целыми воротиться.

Но теперь на Дону теснота, казаки чужим промыслов не дают, а государеву соль не купишь – на Москве от того, говорят, уже бунт был – соляной.

Тогда-то и замыслил Янко поход за Волгу. Там манычи – не чета донским, там соль вольная. Но и края там вольные – баловства много. Вроде и башкирцы, и тайши калмыцкие замиренны, а за Волгой – беспокойно. Места пустые, степь всё покроем, вот и балуют юртовщики.

От сельца Долгого жребий пал на Игнатов двор, и старик послал Семёна. Лошадь дал – Воронку, старую, но ещё ножную. Подорожников велел готовить не скупясь. В дорогу благословлял с улыбкой.

«Радует, – пришла догадливая мысль. – Со двора согнал, себе путь открыл».

Жене вместо прощания Семён сказал коротко:

– Смотри, ежели что – смертью убью.

– Семён Игнатьич! – стоном выдохнула Фроська. – Да я... ни в жизнь!..

А Семёну вдруг весело стало и легко. Чёрта ль в них – старой жене да батьковой похоти, а сейчас впереди дорога, новые места, вольная жизнь. Хоть час, да мой, а там как господь положит.

Отправлялись обозом на осьми телегах с ездовыми и работниками: на передней подводе дядя Савёл Губарев, за ним Игнашка Жариков – бедовый хлопчик, братья Коробовы – Тит да Потап, следом Гарасим Смирной, Митрий Павлов, Зинка Павлов тож, а последним – Семён на своей кобылке. В работниках шли Гришка Огурец да Ряха Микифоров – бывшие стрельцы, грозившие, в случае чего, оборонить обоз от лихих людей. У Гришки для того и пищаль была припасена со всяким снарядом, а у Ряхи токмо ножик засапожный. Верховодить староста послал своего сына Василья. Отписи на него выправил, денег отсчитал четыре рубли с полтиною и пистолю дал немецкой работы с кремнёвым курком.

Помолились у Успенья и тронулись. Семён светел был, уезжал не оглянувшись, и ничто в душе не холонуло – а придётся ли домой воротиться.

До Волги-реки ехали не опасно – дорога хоженная, народ живёт смирный. В Царицине стали сбиваться с другими чумаками и подряжать ратных людей для обороны от калмык и юртовых татар. Смета вышла по пятиалтынному с воза. Василий поморщился, да отдал. Без обороны ехать боязно, а на Гришку Огурца надежда плоха.

На дощаниках у Царицы-реки перегребли Волгу, а там уж, за Бакалдой, – пустая степь. Там, на полдень поворота, и лежит великий маныч – солёное озеро Баскунчак.

Весной да в начале лета степью проезжать весело. Ветер шевелит ковыли, движет волнами. Жаворонок в синеве разливается – высоко, глазом не ухватишь. Стрепет над травами летит, как пьяный, шатает из стороны в сторону. Байбак свистит у норы, предупреждает своих – мол, люди едут! Пустые телеги идут тряско – за день так наколотишься, земля неродной кажется. Вечерами возы ставятся в круг, воли и стреноженные лошади пасутся под охраной. Над кострами вешают татарские казаны, пшено в них сыплют не по-домашнему густо, щедро заправляют топлёным маслом. Разговоры у костра тоже дорожные – всё больше о дальних странах, будь они неладны!

Так-то незаметно добрались к солёным водам. На берегу острожек стоит, стрельцы живут, не для корысти, а для сбережения промыслового люда. Мыту иметь будут в Царицине либо в Астрахани, с того, кто с прибытком доедет. А тут – кругом соль, хочешь сам добывай, хочешь – готовую покупай.

Вокруг острожка в балаганах и юртах теснится работный люд: татары, калмыки, башкирцы, беглые русские мужики – со всех стран сволочь. Людишки изработавшиеся, таких и в полон не берут.

Черпальщики ходят по мелким местам, ковшами льют на кучи соли густую рапу, и под жаркими лучами соль нарастает чуть не на глазах. Чистую соль сгребают, досушивают на берегу и рассыпают в рогожные кули. Одному такое дело не осилить, народ сбивается в артели. Выборные артельщики солью торгуют – по три деньги за пуд, ежели в свою рогожу.

Цена невелика, в Царицине соль втрое стоит, а Василью такой расклад, что нож острый – не хватает денег. Оно бы и хватило, да сходил приказчицкий сын в Царицине на кружечный двор и прогулял там ровным счётом пятьдесят копеечек. Потом сам удивлялся: как ему повезло столько пропить? Чарка водки две денежки стоит, неужто его угораздило полсотни чарок выцедить?

Но теперь удивляйся – не удивляйся, а в деньгах нестача. Или домой ехать пустым, или самим соль черпать. Василий велел разуваться и лезть в рассол. Мужики пошумели, да делать нечего, не порожними же вертаться – выбрали место от прочих в стороне, начали соль готовить.

Семёну выпала самая скверная работа – в озере. Сверху солнце палит нещадно, рапа ноги ест, ковш дельного нету, гребла местные тоже не дали. Кувыркайся как знаешь по Васькиной милости, чтоб ему та водка желчью и уксусом обернулась.

Худо-бедно, но за неделю недостаточную соль выбрали. Только к тому времени караван вместе со всей воинской силой к самому Царицину подошёл, не стали чумаки ожидать пропойцу.

– Ничо, – сказал Васька, – добредём как-нибудь. Туда тащились – живой души не видали, авось и обратно бог милует. А ежели что – отобьёмся. От чёрта крестом, от буяна пестом.

– Ну, Ряха, теперь на тебя вся надежда, – скалился Зинка Павлов, когда отставшие чумаки отъезжали в степь под угрюмыми взглядами солеваров.

Назад по степи ехать куда тягостней. Припасы проели, водой прискудались, а поклажа тяжела – соль товар веский. На каждой повозке по пятьдесят и по шестьдесят пудов соли. На первый взгляд вроде и немного – дома случалось больше наваливать, да только здесь дорог нету, а степь лишь издали кажется ровной.

Теперь уже ездовые на телегах не сидели, шли рядом, чтобы не нагружать лишку лошадей, а в иных местах и плечом не ленились поднажать в помощь животине. Негодно лошади по степи груз волоочь. Украинных мест люди, случись из дому выезжать, волов запрягают, кыпчаки и иные башкирские племена так и вовсе кладь на верблюдах возят.

Семён, как впервой верблюда увидал, так приружачнулся. Что за страхолудина, прости господи! Другие мужики тоже дивились, а Игнашка Жариков к верблюду подбежал и ладонью по брюху хлопнул.

– Зверь как зверь, – сообщил он, вернувшись к обозу. – Бок тёплый. А шерсть как у барана.

– Ну тебя!.. – плюнул Семён. – Меня озолоти всего, я к такому чудищу не подойду.

Говорил и верил своим словам, не зная, что быть ему при этих верблюдах погонщиком не год, не два и не десять.

Под вечер взорвалась пустая степь криками, диким визгом, пляшущим конским топотом. Из ниоткуда вылетела орда, степные ногайцы: разом со всех сторон окружили. Где уж тут обороняться: Ряха заголосил по-бабьи, пал на карачки, под телегу пополз, избывая неминуемую гибель. Гришка пищаль схватил, хотел палить, так пищаль не стрелила – порох на полке фукнул, а заряд запалом вышел: всего и огня, что бороду Гришке опалил. Тут степняки подлетели, с визгом стеганули стрельцу по рукам хвостатой ногайской плетью, Гришка пищаль выронил, на том бой и покончился.

Остальные так и сидели дураками, только Игнашка кинулся нахлёстывать своего жеребца. Ну да где там, на гружёной телеге от конного уйти: духом догнали татары Игнашку,

скрутили, словно повивальная бабка рождённое дитя. Огурца тоже спеленали, бросив на возу рядом с Игнашкой, а остальных и вязать не стали – сами сдались.

Василий выл по-дурному, прощаясь с жизнью, отмахивался шапкой от хохочущих степняков. Про пистолю немецкую и думать забыл, так и торчала за кушаком, покуда её не прибрал заботливый татарин. Тут старшой и вовсе разрыдался. Причитал, кляня немилостивую судьбу, сурового родителя, татар и горькую соль. Только себя да царицинское кружало забыл повиноватить.

Татары и соль с возов вываливать не стали – от кого уходить-то? Потащились дальше прежним порядком, только с новыми хозяевами и не в родную сторону.

Семён шёл постный, твердил умную молитву, убеждая себя, что по греху и наказание, а в душе и сейчас горя не чуял. Не плакалось по дому. Только Воронку было жаль. Воронке теперь тяжеленько приходилось: прежний путь, какой ни есть, а всё катанный. И Гришка пленный на возу растянулся, плюётся сквозь палёную бороду, вопит на татар непотребными словами. Набольший татарин Едигей по-русски малость кумекает, так подъедет на рыжем коньке, снимет с бритой головы лисий треух, пот утрёт и скажет:

– Молодца, урус! Хорошо орёшь. Ори ещё.

– Молчал бы, морда бусурманска! – ярится Гришка. – Кто вам, собакам, позволил проезжающих зорить? Ваш ханок государю присягал в мире жить, а вы, гадючьи дети, что творите?

– Ай, ай!.. – скалится Едигейка. – Мы с белым царём живём в мире. Никого не зарезали, никого не стрелили. Это ты, борода, нас стрелил.

– Обоз почто разбили, злодеи?

– А зачем один степью ходил? Степь большая, много людей бродит. Русский царь в нашу степь калмыцкого нойона пустил. Русский царь в нашу степь башкирских тарханов пустил. Много в степи плохих людей стало, зачем один ходил?

– Да это Васька, выродок, дурья башка, велел. Чтoб с него черти кожу содрали и на барабан напялили!

– А зачем дурака слушал?

Тут уж Гришке крыть нечем, разве что снова лаяться.

– Тебя повидать хотел.

– Смотри, – соглашается Едигей, утираясь малахаем.

– Ну ты, молодца, широка лица, – дразнит пленник, – глаза заспал, нос подковал. Потому у вас и бабы нерожалые – как этакoго красавца увидят, так у них со страху выкидыши приключаются.

– Хорошо орёшь, – соглашается Едигей. – Я тебя продавать не стану, оставлю себе. Будешь баранов пасти, а в праздник байрам людей веселить.

– Смейся, смейся, харя! – рычит Гришка. – Куда ты тут денешься? К хивинцам не уйдёшь, они тебя на кол посадят, а к кумыкам тебя не пустят – Волга на пути, там остроги стоят, не пройдёшь с грабленным. Лучше отпусти нас поздорову.

– Я тебя не держу, – жмёт плечами татарин. – Иди.

– У, паскуда! – Гришка елозит связанными руками по телеге. – Так бы тебе морду и раскровянил!

Едигей хлещет конька, скачет вдоль обоза, а сам то ли кричит что-то своим людям, то ли песню татарскую тянет – не поймёшь.

Таким ходом неделю тащились. На третий день Гришка присмирел, стал на волю проситься. Едигей велел развязать, всё одно по степи далеко не убежишь, тем паче что никто из мужиков не знал, куда их волокут. Догадывались только, что катятся вдоль Волги вниз.

На осьмой день появились над степью белые морские птицы, запахло водным простором. Знать, море близко, а где море, там остроги и стрельцы. Налево – Яицкий городок,

направо, на Бучан-реке, – Красноярский. А татаре спокойны, словно там не русские города, а ихние татарские юрты.

В ту же ночь в пленниках обнаружилась недостача: Гришка Огурец и Зинка Павлов тихим обычаем утекли в степь. Едигей погоню выслал, а остальной обоз понукать принялся; видать и ему боязно стало.

Пленники весть по-разному приняли. Братаны Коробовы вовсе присмирели, не смели поднять голов и ждали неминуемой казни за чужой грех. Васятка, напротив, приободрился, заговорил смело:

– Огурец – парень не промах, я его недаром с собой взял. Он из Астрахани солдат приведёт, и они нас ослобонят.

– Как же, приведёт!.. – чуть не плакал Игнашка. – Держи карман шире! Сам сбежал – и довольно. Всем вместе тикать надо было!

Впереди серой стеной поднялся камыш. Лето ещё в начале, а здесь камыши уже отцвели, шуршат на ветру пышными метёлками. Сначала Семён не понял: откуда в сухой степи этакая прорва камыша, а потом догадался – дороги дальше нет, морской берег это. Хотя тоже, одно название, что берег – моря не видать, сколько глаз берёт – всюду камыши. Стебли на косую сажень подымаются, человека среди них и не заметишь, с головой хоронит.

Зачавкала под лаптями солёная вода, сочно затрещал ломаемый камыш, и мигом исчезли из виду и люди, и кони, и повозки. Теперь их ни стрельцы, ни казаки, ни сам царь морской не найдёт. Болотистые черни на сто вёрст тянутся, от Ахтубы-реки до самого Яика.

На сухой песчаной полосе остановились, стали ждать. Три дня с места не страгивались, и от того бездельного ожидания даже Семёну заглохло. Похилилось бывшее бесчувствие, заскорбела душа. Начал молиться горячо за странствующих и путешествующих и во узах томящихся: особо богоматери и святой заступнице Анастасии Узорешительнице.

Не дошла молитва. На четвёртый день Едигей велел соль с телег снимать и волоочь мешки в глубь камышей. Сквозь черни ломались версты полторы: когда по колено в воде, когда по брюхо, а где и посуху. Наконец выползли к открытому месту. Дохнул в лицо лазоревый простор, закружил с непривычки голову, ослепил брызжущими бликами. Море – это тебе не речка, не мельничий пруд, море много казистее.

Невдалеке от берега под прикрытием малого островка ожидал корабль. Прежде Семён только рыбацкие лодки видал да угловатые дощаники, что поперёк Волги бродят, а тут узрел настоящее торговое судно. Обводами кругло, а днище плоско, чтобы на мелких местах камни не цеплять.

Первый раз Семён встретил торговую гилянскую бусу и сразу понял свою судьбу. Не видать ему больше родного села и немилой жены, а плыть за море в бусурманские страны, в тяжкую неволю.

С бусы лодку спустили, приняли соль. Пленников татаре погнали за останними мешками. Шли потные и злые, облепленные слепнями. По черням бродить – это не блины на Масленую отведывать. Устали мужики, устали и татаре. Камышами идучи, широко растянулись, потеряли друг друга из виду. Да и глаза натрудились за пленниками надзирать.

И тут Семён понял: сейчас или никогда. Улучил минуту, шагнул в сторону и залёг в камышах. Стража мимо прошлёпала – не заметили. Очутился Семён на воле, по шею в солёной воде, зажатый меж морем и степью, где рыскали Едигеевы сыщики.

День Семён хоронился в чернях. Трудно было: кругом вода, а пить нечего – горько. Кто ж мог помыслить, что столько этой соли треклятой по миру раскидано? И харчей Семён не припас: хоть улитку морскую жуй с голодухи.

За ночь Семён хотел уйти подальше от татарского табора, но вместо того едва не утону в подвернувшейся яме. А под утро вспугнул выводок диких свиней. Свиньи всполошились и шум на всё море подняли. Кабы не тьма, точно словил бы его татарский князишко. Но

сейчас свиньи чесанули в одну сторону, а Семён – в другую. И чем они тут только живы, дьяволы тьмочисленные? Где пить берут? Или из моря пьют, а потом ходят засоленными, как ветчина, что и солонины с них готовить не надо, а можно прямо в бочонок гнетить? Да нет вроде, свинья как свинья, дома, в Саповом бору, такие же водятся.

Семён вернулся и осторожно пошёл по просеке, проломленной вспугнутым кабаньём. Так или иначе, но не могут же звери век в солёной воде сидеть? В степь полевые свиньи не ходят, волки их там живо поприедят. Значит, удастся выйти к какому ни есть, но сухому и скрытому месту. А может, и к родничку след выведет, к водопойной речушке.

Солнце ещё не показывалось, но уже разукрасило небеса густым брусным цветом, тростник высветился чёрными полосами. Небо порозовело, рассветный ветерок качнул метёлками камыша, смутно прошелестев по черням. Первый яркий луч кольнул глаза, закружил пляску света и теней. Человеку, скрытому в болотной траве, и без того дальше носа ничего не разобрать, а тут и вовсе неудобьсказуемое буйство началось. Кто и умеет ходить в камышах – всё одно закружит.

Семён упорно ломился по кабаньей дорожке, и впрямь нелёгкая вынесла его на сухой островок. Чёрные и жёлтые полосы обезумело качались перед воспалённым взором, и потому Семён сначала разглядел лишь серую тушку заваленного подсвинка и долго не мог понять, отчего тот лежит на боку и почему не убегает, созывая на Семёнову голову Едигеевых ловцов.

А потом зверь, замерший над задранной свинкой, приподнял верхнюю губу, обнажив верхковые зубы, и плотоядный рык пригнул к земле испуганные черни.

Семёна словно дубинкой по затылку тяпнули. Так и замер на полушаге, не видя в полосатом безумии полосатого охотника. Одна пасть висит в воздухе, и пронзительные жёлтые глаза мерцают над ней.

– Чур меня, – забормотал Семён, пятясь от призрака. – Сгинь, нечистый...

Зверь раздражённо хлестнул хвостом, и Семён наконец разглядел хищника, по-котовьи припавшего к земле. Вот только длины в страшном котище было аршина четыре, не меньше.

Зверь лютый, о котором на Руси всего и памяти осталось, что в скоморошинах! А тут, значит, схоронился зверь, рыщет по прохожую душу, ищай, кого поглотити. Семён глянул в жёлтые с прорезью глаза и ощутил себя мышом перед котофеевой мордой. Но лютловище не торопилось прыгать, лишь гнало непрошеного гостя от лакомой поросятины.

Семён, оступаясь, пятился прочь от страшного места и, даже когда камыши скрыли пирующего тигра, не осмелился повернуться и задать стрекача. Так и бежал рачьим манером, покуда не вломился прямо в руки посланным на поимку татарам.

Когда татары неожиданно надели на него, Семён с перепугу взревел истошно, а увидав людские хари, чуть целоваться не полез. Не думал даже, что не удался побег, до того счастлив был зверя лютого избегнуть. Безропотно позволил связать себя и только твердил, указывая на камыши:

– Там... там... барс, зверь лютый...

Кибитники не поняли, что бормочет беглец, но решили проверить. Один погнал Семёна к лагерю, а двое других, приготовив арканы, отправились по Семёновым следам, искать своей гибели.

Семёна тем временем притащили к судну. Остальные полоняне уже сидели на палубе, ожидая решения судьбы. Семёна повалили на доски и набили на шею деревянную рогатку, прикрутив к ней обе руки.

Заполоскал на ветру парус, гортанно закричали мореходы, и русский берег остался позади. Полоса камышей быстро потускнела, неразличимая глазом, и если бы не островки, маячившие то тут, то там, так и вовсе бы память о земле пропала, словно вернулись Ноевы времена, когда один Арарат из вод торчал.

Тихоходная буса, по-утиному кланяясь, резала волны. Никто из корабельщиков ни малейшего внимания не обращал на пленников, и даже горбоносый охранник сидел, привалившись к борту, и, положив кривую саблю на колени, смурно глядел в голубеющую даль.

И тут Игнашка Жариков взвыл по-звериному и одним прыжком сиганул в воду.

Чернобородые персы заматались по кораблю, стражник ужасно замахал саблей, кто-то схватился за руль, кто-то попытался спустить парус, но капитан заорал, требуя повиновения, и сумятица улеглась.

Игнашка, широко взмахивая руками, саженками плыл прочь. Капитан вынес наверх лук, наложил стрелу, прицелился. Стрела плеснула у самой головы пловца, разошёлся одинокий круг, и ничего не стало.

– Сгубили паренька, антихристы... – простонал дядя Савёл. – Даже если и не попал, всё равно потонет.

– Это ещё как поглядеть, – возразил Митрий Павлов. – Может, он просто нырнул. Жариковы – они умеют, это же панинские мужики, у них озеро большое...

Семён тоскливо глядел, стараясь увидеть среди пенящихся волн Игнашкину голову. Смутно было на душе, хоть сам следом прыгай. Одна беда – рогатка не пускает, да и без неё никуда бы Семён не доплыл. Речка Упрейка – это тебе не Панинское озеро: долговские жители народ сухопутный.

Раздосадованный купец велел со зла набить колодки на всех рабов, хотя уже ясно было, что больше никто в море сигать не станет. Так в колодках и отвезли бедолаг через Хвалынское море в торговый город Дербент.

Первый чужеземный город, который довелось повидать Семёну. Не таким представлялся он в детстве, когда так славно пелось, подыгрывая себе на брылясах:

Ах, Дербень, Дербень, Калуга,
Дербень, Калуга моя!
Тула, Тула первернула,
Тула родина моя...

Где она ныне – Тула, родина моя?

Чудился Дербень-город гудошным, скоморошным, балалаечным местом, а оказался пыльным, словно выцветшим от нестерпимого зноя, и недобрым к русским полонянам.

Город тянулся поперёк узкой береговой полосы, да не просто город, а стена преогромная, без конца и краю. С одной стороны уходила стена к горам, теряясь вдали, а другой падала в море, и там из воды торчали притопленные башни, словно дербентский владыка берёгся вооруженного набега хамсы и стерляди. На ближайшем холме городилась цитадель – большая крепость Нарын-Кала, уютно уставившаяся пушками и на русскую сторону, и к непокорным горам, и на собственный посад, не раз баловавший возмущениями.

Прежде Семён каменного воинского строения не знал, так дербентская стена страшной показалась, где такую воинской силой одолеть!.. Видать, могуч кизилбашский шах, поболее тишайшего царя. Потом уже, побродивши по свету, понял Семён, что крепость была прежде сильна, а ныне по малолюдству не защитна, стены поветшали и, зане случись воинское сидение, против тюфяков и единорогов не устоят.

Но пока ещё не всё ушло в предание, и, как прежде, говорливо шумел людный дербентский базар, равно привечая и кумыка, и гордого лезгина из недалежного аула, и кубачинца – мастера золотых дел, и спесивого хорасанца, и темнолицего индуса в белой чалме. Торговали нефтью, шёлком, седельной сбруей, камкой и узорчатым товаром, что на Русь идёт, а всего больше – людьми. Этим промыслом Дербень-город издавна славен. Русских купцов в Дербенте много, по всему базару ходят, а в невольничьих рядах не бывают. Где ещё лихим

людям ясырь брать, как не в России? Каждый второй поставленный на продажу – русич, смотреть на горемык – душу рвёт, а из полона выкупать – мошне накладно. Вот и обходят стороной.

На невольничьем рынке пленников быстро расхватили: товар ходкий. Это только в родных краях Ивашек лукошками продают – пучок за пяточок, а на чужбине русский мужик ценится.

Семёна, а вместе с ним и Василия купил дербентский сала-узденъ Фархад Нариман-оглы. Был Фархад-ага толст и добродушен, в жаркий полдень любил посидеть в тенёчке у тонко нарезанной дыни и порассуждать о неизреченной мудрости Аллаха. Двое новых невольников, разбиравших к тому времени по пяти слов, молча слушали: Семён хмуро, Василий – с готовностью кивая на каждое понятое слово.

Иной раз оказывалось, что хозяин не просто думает вслух, а велит что-то сделать, рабы же по тупоумию своему продолжают стоять и слушать. Тогда бек начинал злиться и пронзительно кричал:

– Динара!..

Из дома выскакивала Дунька, тоже русская полонянка, но схваченная ещё во младенчестве, и толмачила новичкам господские приказания.

Дуньке шёл пятнадцатый год, у неё были серые глаза и нос с конопушками. Татарский наряд дико смотрелся с её русацким видом, казалось, будто Дунька наряжена к святкам и сейчас запоёт коляду.

При первом же знакомстве Дунька рассказала, что она христианка, православная и, несмотря на это, ходит у хозяйки в любимицах. Фатъма и впрямь выделяла Дуньку среди прочих служанок. Другие рабыни и полы драют, и бельё моют, и на сыроварне готовят солёный овечий сыр. А Дунька вечно при Фатъме, щеголяет в юбке из крашеной кутии и монистах, позванивающих старинными греческими драхмами с изображением бабы-копейщицы и глазастых ночных сов.

Вечерами Дунька часто забегала к землякам, с которыми хоть поговорить могла на полузабытом родном наречии. Болтала ни о чём, делилась куцыми девичьими мечтами:

– Фатъма обещала меня никому не продавать, а когда время подойдёт, замуж выдать: за своего, за русского, чтобы христианин был.

Васька при этих словах приосанивался, вид принимал гордый и неприступный, а Семён продолжал сидеть, как сидел: не о нём речь идёт, он человек женатый.

– Вот хоть бы и за тебя, Сёма. Возьмёшь меня в жёны?

– Есть у меня жена, дома осталась.

– А-а... – огорчилась Дунька. – Красивая небось?

– Я в этом не понимаю. Меня малолетком женили, никто и не спросил.

– Ну так и плюнь на неё, всё равно домой уже не попасть. А здесь бы ага нам дом подарил, как люди бы жили.

– Фу ты, бесстыжая! – не выдержал Васька. – Прямо при людях женатому мужику на шею виснешь! Бога побойся, распустёха!

– Это ты, что ли, в люди метишь? – не осталась в долгу Дунька. – Сначала сопли втяни, губошлёт! А ты, Сёма, его не слушай. Коли не любишь жену, так и не думай о ней. Это на Руси двум жёнам не бывать, а тут закон другой, тут и десять можно.

– Неладно ты шутишь, Дуня, – тихо сказал Семён, и Дунька сразу погасла, словно водой кто плеснул.

Через месячишко, когда рабы худо-бедно, но стали сказанное понимать, Фархад-ага разделил их, направив каждого на свою работу. Услужливого Василия оставил при себе на всякие посылки по делам торговым да служебным. Узденъ знал, что в тайных делах иноземец надёжней, у него ни родных здесь, ни близких, ему никого не жалко. А Семёна, хмурого да

непокорливого, определил в пастухи. Семён, услышав хозяйское распоряжение, промолчал, хоть и удивился: пастушье дело нехитрое, знакомое с малолетства, вот только здоровому парню заниматься им не с руки, это промысел стариковский да младенческий, неспешная работа под рожок и сопелку.

Недоразумение разъяснилось, когда Семёну вручили посох с железным жалом, ржавую саблю и привели трёх преогромных лохматых овчарок, каждая из которых с лёгкостью задавит волка, не говоря уже о пришлое человечешке. Оказывается, Семён был должен не столько пасти овец, сколько хранить их от набегов кюралли. В горных аулах довольно всякого сброду живёт, и чужие овцы всем пригодятся.

Под житьё Семёну отвели старый пастуший балаган. Хоть и не весть какая хоромина, а всё-таки свой угол, где можно голову притулить. С утра Семён выгонял овец в горы, поздним вечером приводил в загон. К полудню на пастбище появлялись работницы и принимались доить маток. Дивно было смотреть на такое Семёну... не коров доят, не коз, а овец. Хотя, если подумать, тоже скотина не хуже иной. А волокнистый овечий сыр Семёну так даже по вкусу пришёлся.

Недели через две вместо одной из старых татарок на склон заявила Дунька.

– Здорово, пастушонок! – звонко крикнула она и, поставив на землю горшок, как ни в чём не бывало принялась за дойку.

– Ты чего? – спросил Семён. – В немилость попала?

– Вот ещё! – фыркнула Дунька. – Сама отпросилась. Надоело в доме, хуже горькой редьки. Куда ни ткнись – всюду Васька, заединщик твой. Ходит гоголем, надутый, что рыбий пузырь. Проходу от него нет. Я-ста такой, мы-ста сякой. А тут хорошо... – Дунька набрала на ладонь зачуток молока, растёрла по лицу. – Молоком умоюсь, веснушки пропадут, стану белая да красивая, глядишь, и ты в меня влюбишься.

Семён стоял, кусая губы.

– Не любя тебе чернавка, да? – спросила Дунька.

– Не в том дело, Дуняша, – тихо сказал Семён, – я ведь уже говорил: женатый я. Меня отец девяти лет окрутил.

– Так и что с того? На Руси так, а здесь по-другому. Места тут Магометовы, и обычаи Магометовы. Был бы дома, так и дело другое, а здесь никакого греха нет, чтобы две жены иметь. И обо мне подумай, что же мне, за Ваську выходить?.. Когда я на него и смотреть-то не могу. А так – продаст хозяин на сторону, в наложницы, думаешь, сладко? Уже приценивались, армянин один из Джульфы: толстый, глазки масляные... цену хозяину давал, я еле уговорила Фатьму, чтобы она меня не отпускала... Соглашайся, Сёма. Я бы тебя жалела, ухичила во всём...

Семён повернулся и, волоча посох, пошёл к сбившимся в кучу яркам. Смутно было на душе и нездорово. С чего так получается: человек предполагает одно, а судьба располагает по-своему? Мечтал иноком стать, а тебя в блудодеи пишат. И, главное, силы нет противостать. Говоришь: «Нет», – а в самой душе надрывно тянет: «Да-а!..» Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, боже, твоею благодатию.

Семён поднял посох и с силой ткнул жалом в ногу, разом просадив сапог и ступню.

* * *

Думал облегчение найти, а сыскал только больший искуc.

Третий день Семён лежит в балагане с распухшей ногой, а Дунька рядом – ухаживает. О своём молчит, но и без слов всё ясней ясного. Фатьма тоже Дуньку жалеет, к себе ни разу не позвала. Дунька все дела переделает, пригорюнится, сядет в уголке, глядит оттуда мокрыми глазами.

Семёну и самому невесело. Рад бы в рай, да грехи не пускают.

Дощатая дверь отворилась, вошёл Фархад-ага. Оглядел домишко, мизинцем выдворил Дуньку за дверь. Вздохнув, опустился на кошму.

– Как твоя нога, Шамон?

– Благодарение Аллаху, получше, – ответил Семён, и сам подивился, как легко сказалось ему по-азербайджански и как просто соскользнуло с языка имя чужого бога.

– Мне стало ведомо, что у тебя есть некоторые затруднения, – продолжил Фархад. – Трудно быть христианином, ещё труднее исполнять христианский закон. Если бы ты принял истинную веру, твои дела было бы легко устроить. Кадий Шараф мой близкий приятель, он развёл бы тебя с прежней женой, не взяв никакой платы.

Семён покачал головой.

– Я родился христианином и с божьей помощью христианином умру.

– Я мог бы понудить тебя, – сказал Фархад задумчиво, – но мусульманин по принуждению – лишь наполовину мусульманин. К тому же я чту мудрейшего Ал-Газали, который учил: «Не мучайте тварей Аллаха, потому что Аллах дал их вам в собственность, а если бы захотел, то отдал бы вас в их собственность». Когда живёшь у самой границы, эту мысль не стоит забывать. А что касается Динары, то подумай хорошенько. Древний мудрец сказал: «Рука, отделённая от тела, лишь по названию рука». Я к тому добавлю: «Мужчина, отделённый от женщины, лишь по названию мужчина». Неволить тебя не буду. Выздоровливай, Шамон. А когда встанешь, то придёшь и сообщишь нам своё решение.

Фархад ушёл, оставив Семёна в ватном смущении.

Как быть? Может, плюнуть да согласиться? Он не девка, с него не убудет. Оно, конечно, грех немалый, так ведь не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься. А с шемаханской рабой жить – не с чужой женой блудовать, такой грех отмолить можно...

Семён покачал головой. Ох, силён лукавый, любит душу мутить! Фроська, какая ни есть паршивая, а супруга законная, и второй не бывать...

Одна – только у попа жена, шепнул искустель, и Семёна от этих мыслей ажно передрнуло, – и хоть в Стоглавце записано со слов Григория Богослова, будто лишь первый брак – закон, а уже второй – прощение, третий – законопреступник и четвёртый – нечестие, понеже свинское есть житие, так Грозному царю и четвёртый брак в закон был. А у тебя и вовсе не брак, жёнка-то на Туле осталась, а Дуньку тебе дают для сласти телесной. Отец себе такого не возбранял.

Вспомнул Семён отца – как ожгло всего. Мигом искус пропал, твёрдо решил Семён в душе своей: не бывать такому блядству.

А через неделю, когда подошёл срок, согласился взять Дуньку за себя.

У персов свадеб не играют. Аллаху дела нет, кто с кем в постель повалился. Богатеи, само собой, пиры устраивают, гостей созывают, хвалятся казной, нарядами. А чтобы в церковь пойти, хоть бы и в свою мечеть – этого не бывает. Тем более никакой свадьбы не положено рабу подневольному.

Хозяин привёл Дуньку, сказал:

– Вот тебе жена. Живите счастливо, Аллах вас не оставит, – и ушёл, прикрыв дверь пастушьего балагана.

Дунька сидела куклой в красном невестином платье, руки сложила на коленях, замерла перед Семёном, словно кура перед мясницким ножом. А у Семёна и самого захолонуло внутри, сробел хуже мальчишки.

Потом подошёл, Дуньку по волосам погладил:

– Вот оно как, Дуняша.

Та судорожно кивнула:

– Да, и подружки нет, косу переплести некому. Но это ничего, я сама переплету.

Путаясь дрожащими пальцами, принялась распускать толстую косу. И когда волосы свободно рассыпались по плечам, Семёна вдруг охватила нетерпеливая дрожь. Уже ни о чём не думая, он принялся стаскивать с девушки свадебное платье. Дунька глядела испуганно, чуть слышно шептала:

– Погоди, это же не так надо...

Чёрта ль в том, что не так! По правилам невеста сама должна раздеться и с мужа сапоги снять... но какие правила могут быть в чужедальнем нерусском краю, да ещё когда кровь гулко стучит в висках?

Дунька послушно опрокинулась на постель, покорно застонала под Семёновой тяжестью. Плакала, а сама обнимала его. Мужняя жена как-никак, понимать должно...

Потом, когда Семён отпустил её, Дунька вдруг улыбнулась всей зарёванной мордашкой, прижалась к Семёну, прошептала в ухо:

– Сёмушка, суженый мой...

Вот где Семёну худо стало. Прежде после телесной истомы тоже гадостно становилось, но тогда он Фроську ненавидел, а теперь – себя.

...Не убий, не укради, не прелюбы сотвори...

* * *

Вскоре Семён привык и уже не мучился совестью. Спокойно ложился, спокойно вставал. С Дунькой был ласков – зачем обижать девку? – но за жену не считал. Так поблядовать – Христос простит, а двоежёнство – грех смертный.

Вот Дунька была счастлива: честно замуж вышла, честно с мужем живёт. Невольнице такая удача редко выпадает. Большинство сначала в наложницы попадает, а уж потом, искудившись, собственную жизнь устраивает. Какая это жизнь, всем ведомо: косы драны, морда бита и пенять не на кого.

Пастуший балаган тем временем нечувствительно изменился, из старой развалины, где не только ветер, но и нескромный взгляд проходил меж плохо слеplенных камней, обратившись в жилой дом. Дунька где-то глины нарыла, замазала трещины, накалила в костре известкового камня, побелила стены снаружи и изнутри, натаскала от доброй Фатмы горшков да казанчиков, тряпок каких-то, и дом стал смотреться пригоже.

Семёну такое дело не понравилось, слишком уж по-семейному устраивалась Дунька, словно и впрямь законная супруга. Уют и Семёна затягивал, звал успокоиться. Семён в душе бунтовал, хотя снаружи ничего не выказывал, лишь жилище своё называл по-местному: саклей, в то время как Дунька величала балаган избой.

Давно, едва сойдя с корабля, Семён принялся лелеять в душе мысль о побеге. Оно, конечно, путь не близкий – округ моря ходить через горный гребень, но всё-таки посуху, а не морем, которого Семён, раз увидавши, побаивался. Он и теперь прежних дум не оставил, но уже не столько планы сметил, сколько просто ласкался мыслью, как уйдёт в родные края. Тёплый Дунькин бок и негневливый хозяин – не чета дедилинскому приказчику! – неприметно приращивали холопа к новому месту. К тому же, походив со стадом, спознал Семён, что есть такое горная круча и каковы речки, бегущие с камня.

А тут ещё другая незадача: прежде Семён мог запасец в дорогу собрать – сыру, лаваш, сушёного мяса; а теперь в доме хозяйка, от неё приготовлений не скроешь, и какой ни будь Дунька дурёхой, а сразу поймёт, куда намылился суженый и что ждёт после этого её саму.

Куда ни кинь, со всех сторон окрутил добрейший Фархад-ага Семёна, и не арканом связал, а тонкой шелковинкой. Только и остаётся вечерами бить поклоны перед образом Спаса нерукотворного: спаси, помилуй, ослобони!.. Так ведь иконку тоже Дуныша принесла: ста-

точное ли дело, просить у неродного благословения беды хозяйке?! Нет в жизни пути, для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?

Так жаловался Семён, а сам жил в довольстве и тепле, как запечный таракан. Господь тем временем жалобы слушал и дело вершил по-своему.

* * *

Лето всё набирало да набирало силу. Жарынь стояла такая, какой в Туле Семёну видывать не приходилось. А дождя не было. Семён сначала думал, что беда подошла, засухой господь посетил, но Дунька разъяснила, что в чёртовом горном краю так и положено: стечёт талая вода, и новой до осени не жди. Дожди только у моря бывают, а дальше тучам хода нет, цепляются за горы. Потому здесь и хлеб не родится, один только ячмень да полба.

Каждый день Семён со своей отарой уходил всё выше в горы, где ещё не вполне выгорела трава и овцы могли нагуливать тело. Семён радовался тишине и горной прохладе и вовсе не думал, что с каждой походкой всё ближе ущелья, скрывающие разбойные аулы, а горы на то и есть горы – злая земля, подъятая дыбом, – что не стихает там великая рознь и брань. Всякий нуцал или уцмий, владычествующий тремя деревнями, считает себя государем и, укрытый ущельями, некоторой боязни себе не имеет. А воинскую славу видит в угоне чужого скота.

Семён так и не разобрался, кому приглянулись узденевы овечки – каратинцам, ахвакам, прозванным за дурной нрав квеша-ахвак, или вовсе каким-нибудь бохлихцам, которых пересчитать по пальцам можно и разуваться для того не потребуется. Но на Семёна у них силы достало. Пятеро мужиков: чёрные кучерявые бороды, чёрные кучерявые папахи и чёрные валяные бурки – выскочили из колючих зарослей держи-дерева, зарубили бросившихся наперерез собак и, не обращая внимания на Семёна, словно хозяева погнали овец дальше в гору.

– Эй-эй! – неумно заорал Семён и, размахивая ржавой саблей, ринулся за похитителями.

Кюралю ужасно удивились, очевидно, рабу в таких случаях полагалось молчать и не вмешиваться. Всё же один разбойник повернул и пошёл на Семёна, неслышно ступая по камням ногами, обутыми в мягкие чупьяки. За саблю он взялся, когда Семён уже размахнулся что было мочи, собираясь рубануть сплеча. И рубанул. Но сабля вывернулась из руки и брякнула где-то в стороне. А чернобородый весело смеялся, скаля белоснежные зубы, и то ли просто держал клинок на отмахе, то ли примерялся, как ловчей разделить Семёна на куски, чтобы способней было вечерять тонконогим, вечно голодным шакалам.

Страх Семён не чуял, не та пора подпёрла, чтобы пужаться, прежде себя надо было выручать. Семён отшагнул назад, словно споткнувшись, пал на карачки и уже с земли метнул в обидчика камень, благо что валялось их всюду преизрядно и было из чего выбирать. Сильно бросил и метко: не отшатнись белозубый – как есть опрастал бы ему камень всю улыбку. А так лишь по щеке мазнул, расквасив ухо и заставив горца ощериться и злобно взвизгивать.

Тут уже приходилось заботиться не об овцах, а о той шкуре, что всего дороже. Будь кругом ровное место, только бы тати его и видели, такого стрекача задал Семён. Но нога попала на щебёночную осыпь, и Семён закувыркался вниз, рёбрами проверяя, прочен ли горный хрящ.

Может, и вправду известковый камень дрествянику не чета, но Семёну и такого с лихвой хватило. Когда в глазах прояснело, Семён увидел, что надёжно связан, а вокруг сгрудились кюралю. Один, с распухшей скулой, всё ещё хватался за оружие, а другие уговари-

вали его на непонятном горском языке. Из всех разговоров Семён уразумел лишь многожды повторяемое слово «бакшиш».

Слово это любому понятно и всякую рану целит. Белозубый успокоился, Семёна поставили на ноги, пинком указали путь, не позволив и оглянуться на места, к которым присох сердцем, хоть и не хотел себе в том сознаться.

В ауле Семёна два дня выдерживали в смрадной яме, а потом погнали дальше в горы. Семён и плакать забыл, пяля глаза на чудеса, что вздыбились окрест. Видать, весел был господь, когда сию землю творил. Не иначе как из хмельного озорства перекошил всю округу, а на бугры да ухабы с пьяной щедростью понасыпал всяких диковин. Там – река с высокого камня прыгает, там – редкий овощ, словно сорная трава, растёт. Семо – пропасть, овамо – стена. Солнце голову печёт, а на горной верхушке – снег. Толикими чудесами лезгинский край славен.

Когда на перевал влезли, Семёну уже не до погляденья стало: ноги сбил и озяб не по-летнему. Хвала всевышнему, путь долу повернул, снова теплом запахло. Новый край открылся: грузинские либо же иверийские земли, из коих и ворон домой костей не занасивал.

Там Семёна и продали вдругорядь.

Грузины народ христианский, хоть и говорят по-своему, и молятся тоже не по-русски. За то им от бога наказание: жить под бусурманами и платить дань то ыспаганскому падишаху, то салтану турецкой земли. Казалось бы, Семёну от того ни прибытков, ни убыли ждать не приходится... ан, вышло по-иному.

Бывало, во младенчестве мать Сёмушку страшала: «Гляди, баловник, баб-яга придёт – отдам тебя. Она таких, как ты, любит – враз к себе утащит». И вот явилась бука наяву, оборотившись сухопарым турком в красной феске с кисточкой. Прибыл в ленный край страшный бааб-ага: отбирать христианских мальцов для султанской службы. Хватали отроков с восьми до осемнадцати лет, хотя не брезговали и малолетком, а порой загребали и старших. От Абхазии до Кахетии стон стоял в православных домах. Кто только мог, старался откупиться чужими душами, и потому молодой парень и часа на невольничьем рынке не простоял.

Заметить чужую тугу среди собственных бед Семён не мог, и уж верно облегчения ему это не дало бы. Видел лишь, что купил его у абреков знатный грузин с тоскливыми глазами и тут же передал турку в обмен на бумажный свиток с печатью на узорном снурке. Заплачено за Семёна было семьдесят маммуди – целое состояние, так что впору возгордиться. А Семён стоял тусклый и не интересовался знать, в какую прорву деньжищ его оценили.

Новые владельцы прикрутили Семёна вместе с десятком таких же бедолаг к общему ярму и погнали дальше на юг – в туретчину. Добро, что хоть малышей не забили в колодки, а оставили бежать на длинном поводке, словно собак на сворке.

Охраны было всего – сам бааб-ага на коне да четверо пеших воинов с тяжёлыми пищалями и кривыми турецкими сабелями. Не охрана, а сущие слёзы, но на обоз никто не посягнул, даром что в горных краях и последний оборванец с ножищем бегаёт, словно Кудеяр-разбойник. Петь, да плясать, да ножичками помахивать – это они мастера, а детей выручить побоялись, робость осилила или умненькая мысль, что случись что с караваном – бааб-ага вернётся с большой силой и возьмёт своё вдесятеро. Тогда уже о своих сыновьях рыдать придётся.

Так и шли турки по стране, будто отару овец перегоняли. Носатые грузинки выбегали навстречу колодникам, причитали по-своему, совали пресный лаваш, капающие рассолом лепёшечки сулгуни, медовые соты, мелкие монетки. Стража позволяла.

Пока шли через Курдистан, Семён и турецкую речь начал помалу разбирать. Дело нехитрое – турецкий говор от шемхальского разнится не сильно. А вот грузинского языка

так и не превзошёл, остались слова тарабарскими: тумба-кви, тумба-ква, тумба-квили-капитоли-капитодзе.

В анатолийские земли добирались два месяца, дома за это время, поди, осень наступила. Однако всякому пути конец бывает – однажды замаячили впереди купола и минареты пленного Царьграда. Бааб-ага от радости, что в срок добрели и никого дорогой не потеряли, песню завёл.

* * *

Город оказался преогромным – ни допрежь, ни потом Семёну ничего схожего с Царьградом видеть не привелось. Говорят, древний Вавилон ещё побольше был, но ему господь за гордость людскую языки помешал, отчего народы врозь разбрелись. И по всему видать, второму Риму та же судьба уготована. Гомон на улицах стоит неудобьсказуемый, и каждый человечешко по-своему балаболит.

Обоз остановился в церкви. Семён уже к такому привык и не вздрагивал, лишь мрачнел и тайком крестился на те места, где прежде святые образа висели.

Турки икон не имеют и не понимают. Всякую красоту им заменяет бестолковый узор. А вместо святого креста ставят на куполе рогатый месяц. Тут уж и глупый поймёт, кому они там молятся. А с тем собором, куда привёл колодников бааб-ага, бесермене и вовсе непотребство совершили; Семён глянул, так зашёлся от испуга, хотя, казалось, ничто его больше удивить не может. Превратили нехристи святую церковь в солдатский стан – по стенам развешали свои турецкие знамёна и волосяные бунчуки, в алтаре поставили козлы с ружьями. А ведь когда-то большой монастырь был, женский... курился под куполом ладан, монашки пели согласно, бывало, сам патриарх служил, благо что Святая София от монастыря через площадь высится и идти недалёко. А ныне – в Софии мечеть, в Ирине – казарма, и, попущением божиим, никого отмищения богохульцам нет: не погубил еси их со всеми беззаконьями, но человеколюбствовал обычно. Аминь.

В монастыре Святой Ирины пленников разделили. Младших увели куда-то, тех, кто постарше – оставили. Приковали к колоннам в правом притворе, заставив прежде раздеться донага. Скорбно было в церкви растелешаться, ну да уж она всё равно осквернена. А голым на людях Семён уже стоять привык – раба покупают, что лошадь или корову: всего осмотрят и ощупают, во всякое место взгляд кинут.

В скором времени объявился рядом старичок в чалме, что средь турок редкость, и богатом халате. Семён решил, что оценщик. При старике – писец со свитком и чернильницей. Старичок к Семёну первому подошёл, поцокал языком, побарабанил сухими пальчиками по Семенову груди, потом спросил, как пленника зовут и велел записать в свиток. Спросил, откуда Семён родом и кто его родители – тоже велел записать. Потом о вере спросил. Семён мотнул головой на грудь, где на снурке качался крестик, домашний ещё. Старичок и здесь остался доволен, однако крестик снял, спрятал в карман и сказал ласково:

– Теперь будешь мусульманином.

– Не буду, – ответил Семён по-турецки и добавил уже на родном языке: – Коня на водопой привести нетрудно, а ты его пить заставь, когда он сам не хочет.

Старичок на чужую речь и ухом не покосил, принялся Семёна ощупывать, как уже на двух невольничьх рынках было. Семён терпел. Смолчал, даже когда старик в причинное место полез, и оказалось, что зря смолчал. Старикашка жесткими пальцами оттянул Семёну крайнюю плоть, тут же в правой его руке невесть откуда возник медный ножичек, чуть похожий на крошечный серп, и в одно мгновение Семёнов уд лишился покрывавшей его кожи.

Семён взревел, лягаться принялся – да уж поздно. Старикашка бодро отпрыгнул, а Семеновой яростью пуще того остался доволен. Из смиренного барана хорошего воина не

выйдет. Лишь когда Семён пророка Магомета назвал засранцем и вонючей свиньёй, старичок погрозил пальцем и предупредил, что в следующий раз Семёна за такие слова посадят на кол.

Остальных новобранцев обрезали не скрываясь. Кто-то бился и плакал, большинство смирилось, понимая, что сила солону ломит.

Когда Семён перебесился и затих, его отвязали и, бросив вместо одежды бумазейный плат, заперли в подвале.

После такого надругательства самая жизнь поганой показалась. Кабы не грех – тут бы и умер. Как теперь быть, ежели тебя силком в чужую веру перекрестили? Не понудили даже, а попросту взяли и, не спросивши, обрезали, как скотину бессловесную холостят.

Вскоре в узилище к Семёну другой старичок спустился, но уже не из духовного звания, а из коруджи – ветеранов янычарского корпуса. Уселся напротив мечущегося на войлоке пленника и принялся поучать: как-де Семёну в жизни повезло да потрафило, какая честь несказанная быть рабом Высокой Порты. На себя указывал, твердил о каком-то очаге, сыном которого и он был, и Семён будет. Семён к тому времени вполне истомился от телесной боли и душевных невзгод, твёрдо положив в душе, что жить не станет. Самому себя порешить – грех, но и жизни такой не надо. Потому соблазнительные речи слушал спокойно, помня, что рабу господню не подобает свариться. Всё равно ведь, что бы там ни талдычил коруджи, всякая душа прилежит господу, даже если и не сумела сохранить себя в целости, попав под бесчестный нож. Потому на все уговоры Семён ответил кротко:

– Отойди, окаянный, а то зашибу, неловко будет.

По-русски сказал, но то ли старичку язык был знаком, то ли без слов понял, однако искуситель поднялся с пяток и ушёл, больше Семёна в этот день не потревожив. Семён, обернув плат вокруг больных чресел, трое дни просидел в подвале. Ни пищи, ни еды принимать не хотел, но уже к концу первого дня понял, что никто его и не собирается ни кормить, ни поить. На второй день Семён смирился с голодной смертью, просветлел духом. Пел из псалтиря: «...даждь ми тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный...» На третий день затосковал и, когда толстый турок принёс наконец-то поток воды и пресный хлебец – фодлу, Семён мигом опростал посудину и умял хлеб. Молодая жизнь всегда своё возьмёт.

Потом уже полоняник узнал, что никто его не испытывал и уморить не хотел, просто после обрезания полагается поститься и воды пить нельзя, покуда грешный уд не подживёт. Место такое – нагноится рана, ничем не залечишь.

Мальчиков, что с Семёном шли, турки тоже попортили, но всё-таки не так жестоко. Дали младенцам сладкой халвы, замешанной на маке и конопле, и обрезали сонных. Потом и детям пост был и сухоядение. Таков закон шариа.

Малышей, подлечив немного, раздали на воспитание в турецкие семьи, чтобы там их воспитали в преданности Магометову закону, а заодно приучили терпеливо переносить лишения. Мальчиков запрещалось учить ремеслу и грамоте, но зато разрешалось наказывать и нагружать чёрной работой по хозяйству. С теми, кто постарше, так не поступишь – разбегутся или избалуются. Этих собирали вместе и направляли на тяжёлые работы под присмотром старых янычар – коруджи. Никакому ремеслу также не учили, понимали турки, что человек, имеющий в руках ремесло, не станет сражаться за два аспра в день. Часть аджеми огланов работали перевозчиками на Гелиоспонте, но большинство, и Семён в их числе, произведены были в бостанжи.

Слово это, ежели на русский перетолмачить, значит – садовник. Вот только сады у турецкого султана не те, что в родных краях. Турецкие мужики столового оброка не знают, платят только подати. Легче им от этого не бывало, мытари и одними податями умеют душу вынимать. Зато для прокормления двора лучшие земли в Анатолии и Восточной Румелии

отданы под султанские бостаны. Поскольку Семёна взяли в рекруты в Анатолии, то попал он под власть Румелийского аги – на запад от Мраморного моря.

Жили бостанжи, ясное дело, не в городе, но и здесь под казармы был испоганен монастырь, на этот раз мужской, освящённый во имя Сёмкиного покровителя – святого Симеона Столпника. Над входом в храм, где поганые арсенал устроили, до сего дня можно было видеть лик святого старца, чудно выложенный цветными камушками. Всякий камушек приложен ко своему месту, отчего не только лик святого виден, но и ладони, сложенные для молитвы, а кругом – малое окошечко и весь столп, на котором страстотерпец простоял пятнадцать лет, умолая господа о прощении чужих грехов, ибо сам был воистину безгрешен.

Хоть и опозорен храм, но Семён преклонил колена и на образ перекрестился, за что был немедля бит лозой на глазах всего булука. Семён даже рад был претерпеть за веру. Ревнуя вере, подобно блаженному Симеону, принялся раны на спине нарочно растравлять и подставлять мухам, чтобы черви завелись и гноили грешную плоть во славу божью. Но и этого не позволило рачительное начальство. Едва язва начала загнивать, явился лекарь и, применив едкий отц, а затем приложивши мирру и алоэ, не дал Семёну приять мученическую кончину. Не хватило Семёну апафии, а по-русски – юродства. Молодая жизнь в который раз душу переборола. Только и есть утешения, что Христос тоже желчью и отцем на кресте мучим был.

Поднявшись с одра, Семён обнаружил, что образ святого заступника густо замазан краской, так что ни лика, ни столпа разглядеть не можно. Горько стало на душе, но всякое непокорство уже изныло, и Семён стал вести себя подобно всем огланам.

Четыре дня в неделю огланы работали на казённых угодьях. Убирали с полей камни – земля турецкая камениста! – окапывали деревья, под палящим солнцем носили коромыслом воду, мотыжили и боронили, бросали в землю семена и собирали урожай. Жизнь эта от обычного мужицкого бытья разнилась не сильно, если бы по вечерам и утром перед началом работы огланов под гром литавры не выстраивали на молитву. Хвала Аллаху прескверному, что хоть поначалу самих не заставляли молитвы орать. Турки молятся не по-своему, а по-арабски, так Семён прикинулся тупоумным и такое вместо арабских слов выговаривал, что его оставили в покое и велели во время намаза помалкивать. Когда мулла в пятницу между молитвами принимался читать Коран, разъясняя избранные аяты по-турецки, то и здесь Семён глядел смурно и на все вопросы отвечал одним словом: «бельмес». Слово это означает, что слушающий ни бельмеса не понял.

Пятница, суббота и воскресенье ничуть не напоминали крестьянскую жизнь. Один из этих дней проводили на плацу, в воскресный день отправлялись на стрельбище – талимхане. В пятницу до очумения простаивали на мусульманской молитве и внимали поучениям, а вечером тех, кого однорукий чорваджи Исмагил ибн Рашид хвалил за прилежание к воинской учёбе, отпускали в город, не дав, впрочем, с собой ни единого аспра.

Исмагил был странным человеком, каким только и ходить в старших офицерах. Из-за увечья он уже не мог воевать и давно должен был стать коруджи и жить на мизерное содержание, но, видно, даже турецкие паши понимали, что хоть кто-то среди начальствующих должен не только о своей мощи заботиться, но и о войске. Потому и держали на службе калеку и даже наградили почётным званием яябаши.

Исмагил ибн Рашид не только сам не крал, но и другим воровать не позволял. Однорукого боялись все – от кятиба, заведующего канцелярией, до последнего капуджи, стоящего на воротах. Под единственной дланью грозного яябаши вырастали настоящие воины, йолдаши, и немалое их число с гордостью носило широкий кушак, какой позволено носить только тем, кто отличился в боях. Сказать по правде, не так много оставалось в Высокой Порте школ аджеми огланов, где готовили солдат, а не пожирателей казны, храбрых в мирное

время и немедленно заболевавших перед началом всякого похода. Саплама – недостойный быть янычаром, слово это звучало в устах ибн Рашида как самое гнусное ругательство.

С самого возникновения пешее янычарское войско было и вооружено и обучено лучше прочих. Когда-то стреляли дети очага из луков, сохранив с тех пор йай – денежное пособие на покупку тетивы, а едва в туретчине объявились пищали, как новое войско стали обучать огненному бою. Фитильные ружья сменились кремнёвыми, и вновь четыре булука немедля перевооружились. Лишь кривой ятаган на боку и дурацкая войлочная шапка, сшитая, как говорят, неким юродствующим абдаллой из рукава собственного халата, оставались неизменными.

Посреди монастырского двора между кельями и собором стоял под навесом преогромный бронзовый котёл. В этом котле по пятницам варили на весь орт баранину. А сверх того, котёл был у янычар заместо знамени. Днём и ночью его охраняли двое ахджи, вооружённых булавами, отлитыми в виде поварёшки. Очаг, на котором помещался котёл, был тем самым очагом, сыном которого Семён отныне числился. Получить еду из полкового котла считалось у янычар чем-то вроде присяги. В праздники котёл выволакивали в город, носили по улицам, оглушительно гремели, ударяя по котлу медными половниками, и, как рассказывали, могли насмерть забить тяжёлыми поварёшками неосторожного прохожего, заступившего дорогу процессии. Такого язычества Семён понять не мог. А впрочем, бусурмане от поганных мало чем рознятся. И то им на укоризну, а не в похвалу.

Семёна в город не отпускали долго, больше года начальство не могло поверить, что новобранец по совести стал мусульманином. Потом вроде поверили, хотя в Коране прямо сказано, что мусульманин по принуждению как бы и не мусульманин вовсе.

От более удачливых товарищей Семён знал, что есть множество способов раздобыть в городе деньги или просто, не заплатив ни обولا, получить сладкую еду, питьё, порцию гашиша или ласки продажной красавицы. Нельзя сказать, будто ничто из этих соблазнов Семёна не привлекало, но впервые попав в город, никакими советами Семён не воспользовался, а просто бродил оглушённый, стараясь понять, что же это в мире делается. Такой содом вокруг стоял, что впору уши затыкать и бежать сломя голову. Ну прямо будто в самую серёдку скоморошьего хоровода попал: тут и коза, и медведи, и домра, и бубенцы, и пение, и гремение, и на головах хождение. Никто по улицам чинно не идёт – все торопятся, никто тихо не говорит – орут как оглашенные. Речь кругом и турецкая, и арабская, и чагатская, и армянская, а всего больше – греческая. Тут сколь на разум крепок ни будь, а голова кругом пойдёт. В булук Семён вернулся к вечеру, одуревший и ничего в царьградском житье не понявший. А ведь мечтал найти на базаре русских торговцев, помощи просить, а при случае тут же бежать на Русь прямо из Стамбула.

Семён не мог знать, что, попадись ему на базаре редкий русский гость или просто вздумай Семён очертя голову ринуться в бега, тут бы и конец ему настал. Неприметный старичок в серой кабатейке весь день следовал за гуляющим огланом, а потом доложил по начальству, что молодой оглан ну ни в чём-таки предосудительном не замечен, хоть живым на небо бери. Такая святость тоже подозрительна, куда больше белюкбаши был бы доволен, узнав, что Семён приставал к гетеркам из весёлого квартала или, притворившись бывалым ясакчи, старался слупить с торговца сладостями немного казинаков или рахат-лукума. Наказывать Семёна было не за что, но в следующий раз он попал в город очень не скоро, месяца четыре прошло, а может, и больше.

К тому времени Семён стал одним из лучших огланов в булуке, так что его не только стрельбе учили и сабельной рубке, но и на коне скакать. А это значит, положило начальство глаз на толкового парня, и, ежели в бою себя храбрым покажет, то повышения такому ждать не долго. Хотя, как говорят, с тех пор как султан позволил янычарам жениться, густами и ахджи в булуках обычно становились потомственные янычары – кулоглу. А Семён, хоть и

глаз имеет верный, и руку твёрдую, и в фортификации понимает больше других, но вот мулла к нему с подозрением относится и шпионы доносят что-то невнятное.

Наконец дошла очередь Семёна ещёжды идти в отгул. Но в ту самую пятницу, как нарочно, лопнуло терпение у муллы, и он строго приказал в следующий раз на молитве не молчать, и чтобы не просто гудели молящиеся, словно жук-скарабей, а вопили слова чётко и проникновенно. Было над чем призадуматься гундосливым, заикам и немногим упрямам. Даже во время работы в поле бедолаги учили тарабарские слова: «Ям ялит валам якуллаху!...» Семёну ничего учить было не надо, наслушавшись Корана, он за полгода и арабскую речь начал разбирать. Но молиться Аллаху не желал, хотя и понимал, что скорее всего разменял в эту пятницу последнюю неделю горемычной жизни.

С таким вот настроением и отправился молодой оглан в Царьград вторично.

Как и в прошлый раз, Семён не искал дешёвых развлечений, не задерживался поглазеть на китайские тени и не оглядывался на визгливые выкрики Карагёза. Однако, научившись кой-чему, не мечтал и скрыться из города. Румелия велика, до христианских земель немалый крюк – тридцать три раза поймать успеют. Сегодня Семён хотел лишь одного – отыскать христианский храм, помолиться напоследок, а, может быть, если повезёт, то исповедоваться и получить пастырское благословение на мученическую кончину. Русского попа, ясное дело, сыскать не получится, но, в крайнем случае, сойдёт и греческий. Греческий язык господу угоден, поп Никанор как-то рассказывал, что после воскрешения распятый Христос на жидов разгневался и с тех пор, являясь верующим, говорил не по-еврейски, а эллинскими словами. Одно беда – греческого языка Семён выучить не успел; знал пару слов – и всё. Ну да авось выручит пресвятая богородица.

Готовясь к исповеди, Семён прежде целый день постился, а с утра, хотя ещё неясно было, отпустят ли его в город, постарался уединиться и прочесть в уме покаянный канон, не весь, ясное дело, а что с молодых ногтей зазубрил.

Семён знал, что и после турецкого завоевания в городе сохранился целый греческий квартал. Там, в Фанаре, на берегу Золотого Рога, должно уцелела какая ни на есть церквушка – не всё же поганые в мечети обратили.

Город Константинополь велик и шумен, но скучен. Два преужасных разорения – одно крестоносными папистами, а второе султаном Мухаммедом Фатихом – уничтожили дивные красоты бывшего Царьграда. От казны в городе ничего не возводится, только старое перестраивается, простой народ, зная алчность сатрапов и помня о частых пожарах, строится поплотнее и абы как. Глядя на них, и знатные османы, угодные Аллаху и султанскому сердцу, тоже не спешат возводить палаты, живут в простых домах, единственно украшая их изнутри. К какому дворцу ни подойди, на улицу смотрит простая стена с узкими окошечками, забранными крепкой деревянной решёткой. Стена вымазана извёсткой, решётка – охряной вапой. Вот и все красоты: ни наличников, ни резных петухов, ни расписных ставенок, ни конька на крыше.

Греческий город от турецкого ничем не отличался, только шуму поменьше. Побаиваются людишки, что коснётся излишний шум ушей ясакчи, поставленных для охранения христианских подданных Высокой Порты. А так – те же глухие заборы выше человеческого роста да гладкие стены с узкими бойницами окошек, хотя пленные греки давно уже потеряли способность ко всякой самообороне.

Здесь, почти у самой городской стены, Семён отыскал-таки божий храм. Он бы и мимо прошёл, если бы не раздались из-за высоченного дувала размеренные удары клепалом в деревянную доску. Семён уже знал, что в большинстве церквей османы колокола поснимали, и верующих призывает к молитве не кампаны, а колотушка. Поэтому Семён решительно свернул и, отворив незапертые ворота, прошёл к храму.

Судя по всему, был здесь не просто храм, а ещё один монастырь. Позади церковного строения лепились кельи и ещё какие-то постройки, поповский дом среди них выделялся свежей постройкой и гляделся пригожей, чем всё остальное. А вот церквушка оказалась убогой, не чета тем, что были отняты и опоганены турками. Даже куполишка какого ни на есть над ней не возвышалось, только крест на крыше. Ни мозаик цветных не было, ни ганчевых колонн, ни каменной резьбы. Лишь в одном месте в стену вмазаны три барельефа, вынутых, должно полагать, из развалин иного, более древнего, строения. На двух камнях резьба духовная, а на третьем просто изображён молодой парень с факелом в руке, а христианская то картина или языческая – понять не можно. Но всё же хоть и сомнительная, но то была церковь. Крест превыше всего возвышается, родной, православный.

Семён поднялся на паперть, сломил с головы кече, хоть это строго возбранялось уставом, и вошёл в божий храм, где не бывал года, считай, четыре.

Служба уже давно началась, все, кто хотел исповедоваться, пришли заранее и успели получить разрешение грехов. Семёну оставалось ждать и надеяться, что батюшка снизойдёт к невольничьей скудости и согласится выслушать исповедь во внеурочное время.

Народ внутри собрался пёстрый: и богатые греки в одеяниях до пят, и рвань несусветная. Но сказать, чтобы много было этого народу, – тоже нельзя. Служили, ясное дело, по-гречески, так что Семён ничего почти не мог понять и за службой не следил. Хотя напевы многие узнавал и готов был подтянуть клиросным певчим, особенно когда началась катавасия и хоры сошлись перед амвоном. Однако прихожане молились молча, и Семён тоже промолчал. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

На Семёна особого внимания не обратили, хотя он был одет в шальвары и цветной доломан с бумазейным кушаком. Видно, немалое количество греков по разным причинам переряжалось турками и такой наряд никого на улицах Фанара не удивлял.

Семён пристроился сбоку перед образом скорбящей богоматери. Христос, конечно, за всех людей радел, а всё к богородице обращаться вернее. Господь к человеческой немощи редко склоняется, а мать божья, рассказывают, всю Русь пешком исходила, во всякой деревеньке пригорюнилась, в каждой бедной избе всплакнула. Кого ещё просить о милости, как не её, заступницу?

Службу в церкви вёл немолодой священник в богатом праздничном облачении и белом клобуке модного кроя – видом как бы мазанная труба с распятием на макушке. Лицо священнослужителя казалось отсутствующим, и хотя Семён многого не понимал, но почудилось ему, что чинопоследование нарушается, а иные молитвы и вовсе пропущены. Всякому можно видеть, что к службе греческий поп не радел.

«Нашего бы благочинного сюда, – невольно пожалел Семён, – он бы здешнего батюшку за нерадение посмирял. А может, и не посмирял бы... вон у этого наряды какие, и риза, и подризник шёлковые. А ну как окажется кто из архиереев? Тут ведь запросто можно встретить и епископа, и архимандрита; не село всё-таки, а стольный город. Церквушка, конечно, убогая, а облачение поповское так и переливается...»

Думая так, Семён кривил душой. Как и многие дома в Царьграде, убогой церковка казалась только снаружи, а внутри была убрана изрядно, оклады на иконах серебряные с цветным камнем, пол мраморами выложен, стены хитро изукрашены малярами, а иконы, даже на глаз видать, – греческого письма. Хотя, какими им ещё быть в греческой церкви-то? У колонн, справа и слева от амвона, на невеликих возвышениях стоят два не то кресла, не то трона. Особенно тот, что справа, – точнёхонько трон, царю сидеть не стыдно. Со всех сторон перламутровым ракушечником обделан, дорогой мамонтовой костью и листовым золотом. А может, и не листом, а просто вызолочен – со стороны так просто не разобрать.

Священник тем временем службу завершил и, не выйдя к верующим, скрылся. Семён крикнул с досады и пошёл искать дьякона или на худой конец пономаря, чтобы у них разуз-

нать, где теперь искать батюшку и не согласится ли он в неуказанное время исповедь принять.

Выйдя во двор, расправил кече, нахлобучил на лоб, огляделся по сторонам. Позади церкви и ещё дальше, за кельями возле хозяйственных построек, Семён сыскал-таки дьякона. Хотя на лбу у пожилого грека не написано, что он дьякон, но давно известно, что какую должность человек исполняет, на того он и похож. Приказной обязательно тощ и искривлён, словно худое деревце, побитое ветрами, думный боярин зычен голосом и чревом вперёд выпирает. Поп бывает со всячинкой, а дьякон всегда краснолиц, и борода у него растёт широким просяным веником. Вот и этот гречанин был точь-в-точь как дьяконы на Руси.

Дьяконы в церквях самые рачительные хозяева, вроде как экононы в католических монастырях. Краснолицый грек не был исключением. Повернувшись к Семёну спиной, он распекал уныло кивавшего на каждое слово человека. Конечно, Семён не мог знать, что говорит красноречивый, но что он устраивает разнос, было ясно без слов. Мир всюду одинаков, да и поповка не сильно разнится.

Семён покашлял, чтобы привлечь к себе внимание, и спросил:

– Ваше степенство, как бы мне с батюшкой повидаться? Я понимаю, что не в срок пришёл, но уж очень занужбилось.

Дьяк обернулся и едва не подпрыгнул, уставившись на Семёново кече.

– Слушаю посланца великого султана, – пробормотал он по-турецки.

Тьфу ты, пропасть! Семён и думать забыл, что православный священнослужитель, коего он так долго искал, может не владеть русским языком! Какой же он, к ядрене-фене, православный после этого? И по-каковски прикажете с ним разговаривать, если по-гречески Семён десяток слов понимает, и те по рассказам инородцев-огланов, а в турецком слова «поп» то ли вовсе нет, то ли никто не удосужился за три года его при Семёне произнести.

– Хозяина видеть хочу, – произнёс Семён так по-бусурмански. – Говорить надо.

В конце чуть не добавил по привычке: «бисмалла», – но вовремя язык прикусил. То-то бы подивились греки на эдакого христианина! Воистину, язык мой – враг мой.

– Сию минуту, я доложу, – неожиданно тоненьким голосом ответил дьяк и действительно побежал, разметая дворовый сор полами подрысника.

Семён пожал плечами и остался на месте, ожидая результатов своего ходатайства.

* * *

Всесвятейший кир Парфений, милостию божью архиепископ Константинопольский, Нового Рима и вселенский патриарх, окончил тягостную службу и скрылся во внутренние покои, которые принято было именовать кельей. Служки, сняв с патриарха облачение, удалились, и первосвященник наконец смог остаться один. Теперь впереди были немногие и оттого особо драгоценные часы отдыха, которые можно провести достойно философа: наедине с чашей вина и свитком Овидия. «Не возлагай же надежд на красу ненадёжного тела – как бы ты ни был красив, что-то имей за душой».

Непросто в наш последний век быть мудрецом, и не знаешь, кого более опасаться: цезаря-иноверца или единоверцев, ежеминутно умышляющих против тебя. Один неправильный шаг – и не помогут ни знание древних философов, ни софистические рассуждения, ни богословские тонкости, пониманием которых, кажется, можно уязвить всякого оппонента. Увы, в человеческих делах громче всего звучит звонкий голос золота, а патриаршья казна вновь, в который уже раз, пуста.

Кир Парфений вздохнул и распечатал крошечную амфору с густым хиосским вином. Увы тебе, Эллада, приют мудрецов, нигде больше, кроме острова Хиос, не делают настоящих

амфор и настоящего вина. Во всём упадок и разорение, и, как сказал Аристотель об испорченных людях, ни у кого не согласуется то, что они должны делать, с тем, что они делают.

Первосвященный придвинул кубок тончайшего венецианского стекла и наклонил над ним амфору.

В дверь неделикатно громко постучали, на пороге объявился протодьякон Мелетий, управляющий патриаршим подворьем.

– Там!.. – задыхаясь выговорил он. – Там пришёл янычар. Требуется ваше святейшество!

Холодом продрало патриарха Парфения от этих слов. Нет для православного пастыря горше муки, чем в собственной убогой келье ежеминутно ждать, что вспомнят о нём власти и вновь потребуют чего-то – скорее всего денег, которых и без того не хватает, а быть может, и самой жизни. Но в любом случае беды начинаются с того, что на монастырском подворье объявляется янычар, посланный великим везиром, или румелийским агой, а то и самим султаном.

– З-зови... – через силу выдавил кир Парфений.

Ждать во дворе Семёну пришлось недолго. Дьякон, к которому он обратился с просьбой, объявился назад через минуту и пригласил Семёна в палаты. Другого слова, чтобы назвать священнический дом, у Семёна не нашлось. Куда до этой роскоши хатёнке попа Никанора, да хоть бы и богатой усадьбе Фархад-аги. Убогое снаружи строение внутри поражало взгляд. Полы мраморные, двери точёные, на стенах бархаты. В тёмных комнатах свечи горят в серебряных подсвечниках. Дворец, да и только... царский терем! А он сюда припёрся за наставлением в вере и отпущением грехов.

Семёна ввели в полутёмную комнату, где в деревянном кресле с прямой спинкой восседал священник. Вместо иерейского облачения на нём была монашеская ряса, но тоже не простая, а лилового шёлка, радующего глаз и тело.

На этот раз Семён не повторил ошибки, сразу заговорил по-турецки:

– Прошу прощения, ата, но у меня не было иного времени, чтобы обратиться к вам. Я не турок, я славянин, из России. Турки взяли меня в своё войско, насильно обрезали, но я остался православным...

Кир Парфений молча слушал излияния опасного гостя. Значит, это не посланец султана... Ну конечно, посланец должен быть в ранге куллуки и носить парчовый пояс. В таком случае, дело обстоит гораздо опаснее, нежели новое повеление властей. Это провокация. Знать бы, кем подослан настырный янычар...

– ...нет больше силы терпеть мусульманство. Благословите, отче, на подвиг. Лучше мученическая смерть, чем такая жизнь. Даже среди бывших еретиков есть примеры для подражания, не признающие Магомета, а из православных ни один не осмелился восстать. Благословите на подвиг, отче, горю послужить вере.

«...если это человек шейхульислама, – спешно соображал Парфений, – то за попытку совращения в христианство обрезанного янычара меня наверняка сместят с престола, а возможно, будет и нечто худшее. Гнать немедленно! Но если это человек Павликия, – антифоном пришла другая мысль, – то жди бед на соборе».

– ...со следующей пятницы каждому велено вслух непригожую молитву читать, а я не хочу. Грешен, до сих пор притворялся, будто Аллаха чту, но более притворства не желаю... – Семён говорил, исповедуясь скорее самому себе, нежели разодетому в шелка монаху. Не виделось в монахе святости, земным и грешным пахло от него – не миром и ладаном, а киимоном и сладким вином.

«...гнать! – твёрдо решил Парфений. – А если ошибся, то на соборе скажу, будто испугался гонений не на себя, а на всю церковь. Мол, если янычар обратно в церковное лоно принимать, то недолго дожидаться и церковных погромов... А вдруг, – пришло в голову новое соображение, – всё, что рассказывает незванный гость, – правда? Тогда тем более – гнать!»

Одно дело, когда везир задумал получить с церкви новые подношения, совсем иное, ежели ему донесут, что в одном из булуков произошли смутительные дела».

– Не вовремя ты пришёл, сын мой, – произнёс кир Парфений по-болгарски, желая проверить, вправду ли перед ним славянин. Так ли, этак, но болгарскую речь все славяне понимают. – Служба окончена, я устал... К тому же такие решения трудно принять, не вознеся молитвы и не обдумавши всё как следует. Приходи завтра с утра, я велю принять тебя и дам ответ твоим сомнениям.

– Кто ж меня завтра из казармы выпустит? – воскликнул Семён. – Я и сегодня-то чудом здесь очутился!

– Я ли виновен, что ты явился в неуказанный час? – вопросом на вопрос ответил монах. – Ступай и приходи, когда велено.

– Эх! – Семён не сумел сдержать досады. – Нерачительный ты пастырь, отче. Добрый пастух, потеряв одну из овец своих, оставляет прочее стадо в пустыне, идёт искать пропавшую и приносит домой на плечах. Заботливый хозяин и в день субботний отвязывает вола и ведёт поить. А ты не даёшь мне воды утешения. Что скажешь своему епископу, когда спросит, как служил господу и пас вверившихся тебе?

«Паисий Лигарид доносит, что на Москве никто писания не знает и молиться не умеет, а этот искусьитель притчами говорит, – мельком подумал патриарх. – Хотя Лигариду веры немного, старый лис перед каждым хвостом метёт. А вот туркам такого книжника взять негде. Значит, это человек Павликия или и впрямь послушник из московских монастырей. Только зачем он притворяется, будто не понимает, куда попал?»

– Мой епископ – царь небесный, перед которым все ответ держать будем, – произнёс Парфений больше для того, чтобы протянуть время.

– Но и патриарх над каждым священником благочинного поставил, – напомнил Семён.

«Неужто и впрямь не знает, с кем говорит?» – Парфений выпрямился в кресле и спросил:

– А кто, по-твоему, поставлен над патриархом?

Секунду Семён стоял неподвижно и, поняв наконец, кто перед ним, грянулся на землю, ударив лбом в мозаичный пол.

– Ваше преосвященство! Помилуйте! Не узнал...

– Встань, чадо, – тихо произнёс монах, – и не печалься о своём проступке. Можно ли мне негодовать, что не узнал тобой, когда сам спаситель, явившийся людям, остался неузнанным и был распят? Теперь я вижу, что ты и впрямь тот, кем назвался, и действительно ищешь истины. Я, недостойный иерей, постараюсь помочь тебе и разрешить твои сомнения.

Патриарх вздохнул невольно и по многолетней привычке возвёл глаза горе, как бы показывая, что вздох его не от собственной немощи и печалей, а от сердца, сокрушенного людской тщетой и церковным нестройством. Надо же, сколь неудобный казус приключился! Такого и злейший враг не выдумает. Ведь этот славянин и впрямь может восхотеть мученического венца... Через сотню лет подобные вещи, глядишь, и послужат вящей славе церковной... А ныне? Довлеет дневи злоба его, пастырю духовному думать надлежит не только о духовном, но и о делах вполне мирских. А дела творятся недобрые. Трижды сгоняли патриарха Парфения с церковного престола, и сейчас злые умышленники сильны как никогда. Если этот янычар всё-таки подослан Павликием...

Словно в пророческом видении представилась кир Парфению картина собственной скорой гибели: цепкие руки убийц, скользкий шнур, больно впившийся в шею, и рогожный мешок, готовый принять тело мученика господня патриарха Константинопольского Парфения.

Парфений вновь вздохнул и, стараясь не глядеть в глаза неудобному посетителю, заговорил:

– Я понимаю твои сомнения, чадо, и разделяю их. Спаситель учил веру блюсти неклонно, и многие пророки и святые мученики дают нам нетленный пример великого мужества. Потому и тебе надлежит оставаться в душе православным христианином, не поступаясь и малым из того, что мы исповедуем. Однако вспомни, что сказал Христос, когда фарисеи искушали его во храме: «Отдавайте кесарево кесарю». А что есть воинская служба, как не служение царю земному?

Парфений замолчал, глядя на склонённую голову оглана. Ох, непроста задача наставлять на путь истинный этаких упрямцев! Уж если прилучилось тебе стать янычаром, раз попал в турецкие руки и обрезан по Магометову закону, то будь янычаром не за страх, а за совесть... вон их сколько, все города заплотонили, а православных греков не убывает. А то ежели этот парень учудит какое непослушание во имя веры Христовой да на допросе сошлётся на повеление святейшего патриарха, то кир Парфению точно на престоле не усидеть, да вряд ли и отделаться ссылкой в родные Яссы. Но и без православного поучения пришельца оставить нельзя, а то ещё хуже дело может обернуться. И без того митрополит Ираклийский Иоаникий, которого с великими убытками и трудами удалось согнать с незаконно занятого патриаршего престола, всюду твердит, что Парфений хоть и возвышенного духа человек, но любит роскошь и не чужд симонии, отчего православная церковь пришла в упадок до того, что утварь патриаршей ризницы приходится отдавать в заклад еврейским ростовщикам. А как обойтись без поборов и хитроумных денежных изысканий, если в нарушение фирмана Магомета Второго алчные паши непрестанно требуют с православных денег? Сам Иоаникий, усевшись на похищенный престол, тоже султану платил и долги церковные увеличил. К тому же, посягнув на наследство Парфения и возвеличив на него пята, оказался митрополит Ираклийский наветчиком своему благодетелю. Поистине, всё земное – тлен и пагуба. Как тут быть пастырем добрым, что сказать непреклонному русичу?

– По божьему попущению, – вновь неспешно заговорил патриарх, – случилось так, что, словно в первые времена, поставлен над нами царь немилостивый, злой агарянин, расхищающий виноград Христов. Однако помним неуклонно, что всякая власть от бога, и нет власти иначе как от бога. Сотник Логин, о котором читаем в книгах благой вести, быв в душе христианином, служил римскому кесарю и приносил языческие жертвы. Тот же подвиг предстоит и тебе, чадо. Велит мулла нечестивый Аллаха поминать – кричи об Аллахе в голос, но в душе будь безгласен. Прикажет намаз творить – внешне исполняй, а про себя умную молитву тверди по православному чину. «Вера твоя спасла тебя», – сказал Христос. Помни об этом, и сам спасён будешь. Аз грешный благословляю тебя, и отпускаются тебе грехи твои.

Парфений умолк и осмелился взглянуть в глаза оглану. Тот уже не стоял, поникнув головой, а тоже смотрел в лицо исповеднику. Странно смотрел, тёмно. Потом сказал: «Спасибо на добром слове», – и вышел, не дожидаясь отпуска.

Тошнёхонько вселенскому патриарху стало и не зналось, чего ожидать.

* * *

Не весело думалось и Семёну. Вновь, в который уже раз, вышло так, что мечтал об одном, а получил вовсе иное. С отеческим благословением муки принимать сладко, а на миру и смерть красна. Тем более что за примером для подражания далеко ходить не придётся, и впрямь был рядом с Семёном человек, не желавший покоряться Аллаху.

Народ в школе огланов собрался разный, со всех краёв и весей. Далматинцы и болгары, поляки, грузины, православные абхазы, сербы и вовсе неведомые люди, доставшиеся султанскому войску от разбоя по всему миру. Из всех христиан только армян и венгров в янычарский полк не хватало. Одних за хитрость и пронырливую, а вторых за то, что народ они

никчемный и, сколько их закону не учи, норовят бежать на родину и вернуться в христианскую веру. Воистину, не видящий прямого пути упорствует в заблуждениях!

Большинство огланов судьбу свою приняло и ждало перевода в булук, поскольку полноправного янычара начальство тяжкими работами не мучает. Языка своего почти никто не помнил или же притворялись, будто забыли. Аллаху молились истово, а чтобы выслужиться и поскорей получить тифтик из белоснежной ангорской шерсти, готовы были порешить кого угодно, и в первую руку бывших своих соплеменников.

Семён, горько жалевший, что его не сочли за никчёмного венгра, с товарищами дружбы не водил и во всём орте сошёлся с одним человеком, таким же случайным здесь, как и сам Семён. Звали нового приятеля Мартыном, и родом он был из Датской земли, которую господь в такую сторонушку закинул, что простой человек о той земле слыхом не слыхал и не вдруг поверит, что есть такая земля на свете.

Мартын турецкого говора не понимал, язык ему давался трудно, не то что Семёну, который себе на удивление всякую речь с лёту схватывал и говорить начинал прежде, чем сам о том догадывался. С датчанином Семён сидел вечерами, талдычил датские слова, а потом и просто беседовал, мешая датский и русский языки с турецким. Мартын рассказывал, что был мальчиком на корабле, по-ихнему – юнгой, а в плен попал к берберам возле Африки. Про Африку Семён уже слыхал, хотя и не верилось, что таковая земля на самом деле есть. Однако вот Мартын в Африке был.

Мартын Семёну крестик подарил нательный. Крест простой, не православный, однако по нужде и закону применение бывает – лучше с каким ни есть, но крестом. Семён осторожно выпрашивал знакома и, выяснив, что римского попа Мартын не признаёт, называя злым еретиком и раскольником, успокоился. Что из того, что Мартын молитвы на своём языке читает, греки православные, как видим, тоже не по-русски молятся. Когда-то Семён тому дивовался, но потом рассудил, что не всем же по-русски разуместь, а бог всякую душу понимает. Так что зря Семёнка на грузин поклёп возводил – пусть их молятся, как умеют.

А в остальном датчанин был парень как парень – волосы льняные и нос в веснушках на манер кукушиного яйца. По деревне такой пройдёт – никто на него и не оглянется. Зато своей веры Мартын держался прочно. Из рассказов его выходило, что чуть не вся родня Мартынова пострадала от католического нечестия. На костёр люди шли, погибая в пламени, словно первые мученики от Нероновой руки. Когда Мартынка это рассказывал, то от волнения пунцовыми пятнами шёл и грозно морщил бесцветные бровки. Смешно было на такое смотреть и не больно верилось бы в датские байки, если бы Семён не видел, что Магометовых молитв Мартын не читает. Лицом закаменеет во время намаза и молчит. Мулла до поры терпит, поблажку даёт не знающему языка, но теперь вот велел всё строго выучить и день назначил, с которого будь ты хоть юрод сущеглупый, но молиться обязан в голос. Мартын, выслушав приказ, промолчал, но вечером сказал Семёну, что душа дороже.

– Не буду поганиться. Что они надо мной насильничали, так в бою, бывает, отрубят воину руку, и креститься станет нечем, но греха в том нет никакого, вера хранит всех.

– Замучают тебя, – тревожно сказал Семён. – До смерти замучают.

– И слава богу, – по-русски ответил Мартын, улыбнувшись так, что веснушки с носа до самых ушей разъехались.

В пятницу, едва муэдзин, что петух на насесте, заголосил со своего минарета, мулла и коруджи вывели орт на улицу, построили во дворе на утреннюю молитву. С полувзгляда Семён увидел, что на этот раз во дворе не только свои теснятся, но и несколько ясаки, пришедшие будто случайно, но палок из рук не выпустившие.

Мартын шёл, как всегда, в общей толпе, но нетрудно было заметить, что даже уши у парня светятся от гневной пунцовости. Значит, твёрдо решил Аллаху не молиться и султану не покорствовать.

Огланы шли нарядные и торжественные. Все были чисто вымыты, как велел Магомет. Коврики расстелили, опустились на колени. И тут Семён увидел, что Мартын стоит прямо, единственный среди коленопреклонённых, и коврик у него не расстелен, а брошен небрежно, словно какая тряпка.

Кто-то из ясакчи закричал, указывая на богохульника, однорукий Исмагил, придерживая высоченную шапку-кече, бросился меж рядами, мулла в ужасе вздел руки к небесам. Семёну не было слышно, ни что пролаял однорукий, ни что ответил Мартын, видел лишь, как датчанин смачно плюнул на коврик, а потом не то откинул его ногой, не то просто растёр подошвой башмака собственную харкотину. Прочее потонуло в криках, визге и яростной суматохе. Во мгновение ока богохульник был скручен и стащен в зиндан. А дозволей Исмагил, так и вовсе растерзали бы огланы бывшего товарища голыми руками. Помяни, господи, царя Давыда и всю кротость его.

* * *

Всякий знает, никто не смеет казнить живую душу, если нет приговора согласно шариа-ту. Но уж когда закон говорит: «Смерть...»

У самых стен монастыря, там, где начиналось талимхане, вкопали в тяжёлую каменную землю оточенный столб. Так казнят турки великих преступников. За малые провинности – вспарывают животы или, завязавши в мешок, мечут в воду. Опальным бекам султан повелевает самим удавиться на присланном в подарок снурке. А великим преступникам написана смерть на колу. Пронырливый турецкий ум и здесь отыскал предлог для чиноразделения. Коля бывают тонкими, а бывают и огромными, с целое бревно. Поначалу на тонкий кол глядеть страшнее – заострённую жердь молотом вбивают в неудобьсказуемое место, затем воздвигают жертву на всеобщее обозрение. Крик в ту минуту стоит такой, что уши закладывает. Но пройдёт час, много – два, заточенное жало проходит вглубь, раздирая чрево, и то, что прежде было человеком, обвисает, пробитое острым деревом, а через день, особенно если стоит жара, острие успевает пронзить тело насквозь и выпирает почернелым концом из развороченного горла. Ничего не скажешь – лёгкая смерть, быстрая и милосердная.

Совсем иное, ежели заплечных дел мастера вкапывают в землю толстый столб. Тут, сколь ни будь душа зачерствелой, а содрогнётся при виде людского зверства. Страшный клин не рвёт, а раскалывает тело, иной раз три, а то и четыре дня пройдёт, прежде чем рассядутся кости, разорвутся связки и мученику позволено будет умереть. Христу на распятии висеть куда способней было. Пригвозди страху твоему плоти моя, от судеб бо твоих убояхся.

Поначалу Мартын крепился, не желал ронять веру перед погаными. Молился в голос, пел псалмы:

Херр, хёр ин ретфердиг саг
Лют, тиль мин клаг...

Через четверть часа молитвы сменились стонами, криком, звериным воем, и уже не господу звал Мартынка, а родимую мутер... плакал, помощи просил, молил о пощаде.

– О чём он орёт? – злорадно любопытствовали огланы, знавшие, что Семён разбирает Мартынову речь.

– Христу молится, – упорно врал Семён, – а Магомета проклиная отныне и во веки веков.

От таких слов ёжились бывшие христиане и спешили отойти туда, где не так слышны богохульные крики.

К ночи крик затих, сменился хрипом и глухой икотой, но и утром воскресного дня Мартынка был жив. Уже не кричал и не стонал, лишь судорога подёргивала разодранное тело, и слёзы текли по лиловому от боли лицу.

В воскресенье после молитвы огланы, как всегда, отправлялись на стрельбище. С утра каждый получил мушкет, кисет с порохом, круглые пули из вязкого свинца. Вокруг правой руки обмотал фитиль на тот случай, если откажет кремнёвый курок. В бою кремень менять не станешь, а без фитиля и вовсе пропадёшь. Строем прошли мимо казнимого Мартына. Каждый косил глазом в сторону столба. Малолетние кулоглу скакали вокруг, корчились, передразнивая судороги умирающего, пальцами указывали на сползающую по дереву кровавую слизь, кричали:

– Обосрался, гяур!

Увидав огланов, пацанва бросила изгаляться над Мартыном, побежала вслед войску, предвкушая радость от пальбы и надеясь набрать побольше свинца от пуль, не попавших в цель. Исмәгил шуганул мальцов – им только позволь, так они прямо под пули полезут.

Сегодня будущие янычары палили в бегучую мишень. Сколоченную из досок фигуру джелями, в халате и высоком колпаке, ставили на тележку и пускали с пригорка. Надо было, пока тележка катится, пулей сбить фигуру. Расстояние до пригорка было отмерено изрядное – десятая часть пешего акче. В такую даль, ежели пыж неплотно заколотишь, то и пуля не вдруг достанет. Палили трижды. Кто первый раз промахнётся, должен пройти ближе на сорок шагов и снова палить. Так до трёх раз. Кто не мог попасть и на третий раз, того учитель Исмәгил наказывал, говоря, что это уже не огненный бой, а перевод казнённого зелья.

Обычно Семён сносил деревянного бунтовщика с первого выстрела, несмотря ни на ветер, ни на рытвины, на которых подпрыгивала тележка. Но сегодня то ли думалось о другом, то ли руки дрожали, но пуля ушла в никуда, позволив джелями съехать с горы.

– Плохо, Шамон, – произнёс Исмәгил, кивком указывая Семёну, чтобы отсчитывал сорок шагов вперёд. – Целься лучше. Стрелять в воздух большой доблести не надо.

Семён прошёл ближе, снарядил ружьё, установил на подпоре. Тележка понеслась с горы, грубо сколоченный джелями подпрыгивал на ходу. А видать крепко насолил султану этот самый Джелями, если и через сто лет после смерти солдат приучают стрелять в его изображение.

Ружейная пуля быстрее стрелы, но и ей нужно упреждение, а то, пока пуля летит, цель успеет отъехать с её пути. Теперь – пора. Семён чуть вздёрнул ружейное дуло, и заряд ушёл в небо.

– Очень плохо, Шамон, – произнёс Исмәгил ибн Рашид.

Семён молча перешёл на новую позицию. Отсюда ему был виден не только пригорок, на вершине которого коруджи снаряжали тележку, но и стены монастыря, ворота и страшный монумент, поставленный в честь кровавого мусульманского бога.

Тележка помчала вниз... Пора! Грохнул выстрел. Джелями, кивая головой, беспрепятственно катил по склону, а круглый свинец, пролетев едва ли не четверть акче, ударил в грудь ещё дышащему Мартыну. Последний раз вздрогнуло изувеченное тело, и свободная Мартынова душа унеслась в строгий лютеранский рай.

Исмәгил, стоявший в десятке шагов позади, подошёл к Семёну, долго молчал, глядя под ноги. Потом произнёс:

– Ты лучший стрелок из всех, кого я учил. Скажешь ясакчи, что я велел дать тебе сорок палок.

Обычно за плохую стрельбу полагалось наказание вдвое меньшее.

* * *

Непосильный подвиг взвалил на Семёновы плечи святейший патриарх. Статочное ли дело – веру в душе хранить твёрдо, но даже креста на лоб положить не сметь. Что же это за вера, без креста и молитвы? Но с другой стороны, страшный пример Мартына тоже стоял перед глазами. Честно человек умер, малым не поступившись из того, что исповедовал. Что до слёз и жалостного крика, так это плоть немощная вопила. Кто мученика за стон осудит, пусть сам попробует на колу посидеть. И всё-таки ужас поселился в душе, и Семён ревностно исполнял волю святейшего, хоть и понимал в глубине души, что поступает так не для спасения души, а страха ради человеческого.

Бежать тоже больше не мечтал. Куда ты из Стамбула убежишь? Турки народ лютый, а греки и иной христианский люд, которого ещё немало оставалось в Анатолии, так Магометом припугнуты, что вперёд ясакчи побегут хватать беглеца. Ну да что их винить, ежели сам патриарх трясётся, как овечий хвост? Скорей бы стать настоящим янычаром и, получив ружьё, ятаган и кече с белым верхом, отправиться на войну. Лучше всего попасть в Валахию, оттуда, говорят, в Россию прямая дорога, да и Валашский господарь чать не кафолин, а православный вождь и за веру крепко стоит. Недаром турки с таким страхом поминают славное имя князя Дракулы.

Больше всего Семён опасался попасть в ясакчи. Ясакчи среди янычар за отребье считаются, хотя многие были бы не прочь устроиться на этакую позорную должность. Вместо ружья у ясакчи палка, и он не с врагом бьётся за правую веру, а по базару ходит, надзирая за торговлей, вроде как хожалые на Руси. Конечно, ясакчи и погибают реже, и кормят их гуще, но Семёну этого было не надо. А то зашлют куда-нибудь в Сирию – что тогда?

Потому и старался Семён все пять лет, которые промаялся на военной учёбе. И ружьём владел, и саблей, и на коне мог, хотя янычары – войско пешее. Даже как пушку направить и бабахнуть чугунным ядром – и то знал. Случись что на войне с отрядом пушкарей, Исмагиловы выкормыши погибших топчи заменят, а Семёна хоть на место топчи-аги ставь.

Наконец дождались. Бывшие бостанжи получили по отрезу ткани, пряденной из козьего пуха, подшили к шапкам тифтики – для красоты и сбережения шеи от сабельного удара – и отправились на службу. Перед выходом побывали стройной толпой в большой мечети Отраджами, что у янычар вроде полковой церкви, помолились напоследок Аллаху, деведжи навьючили на верблюдов всякий припас и имущество, и поход начался. Куда двинулось войско, никто Семёну не сказал. Одно ясно – врагов бить. Оружия до времени выдано не было, казённые ружья и ятаганы молодым янычарам перед самым боем выдают. У ветеранов, ясное дело, весь приклад свой, добытый в сражениях или купленный, старики всегда при оружии ходят. А новичкам только и есть радости, что белый галун.

На второй день похода Семён забеспокоился. Солнце вставало по левую руку, а это значит, что отряд идёт на полудень. С кем там сражаться – в жарких странах? Там и христиан-то нет... неужто возлюбленный сын пророка Африку вздумал повоевать?

Потом сказали: началась война с португальским королём, посему султан осадил город Маскат, славный на весь мир дорогими белыми верблюдами и сладким вином. Лет тому сто сорок пришлое католики оттягали город у арабов, а теперь вот положил на эти места державный глаз султан Мухаммад Четвёртый, да будет доволен им Аллах.

Шли к месту войны ровным счётом тринадцать недель. Пешее войско неторопливо, верблюды шагают важно, но неспешно, выносливые мулы, волокущие артиллерию, тоже резвостью не отличаются. На берегах рек войско останавливалось, долго наводило переправу, а надзирающие за скотом деведжи кормили тягловых животных. Когда шли через Сирийскую пустыню – останавливались у биркетов, сначала поили людей, потом скот, остав-

ляя колодезь столь загаженным, что, кажется, никто уже из него пить не решится. Однако бывалые утверждали, что через недельку помёт и иная нечистота, оказавшиеся на берегу, – высохнут в пыль, а попавшие в воду – осядут на дно, и новые путешественники, приползшие к биркету, будут сначала пить сами, набирать воду в бурдюки, а потом допустят к водопою животину, и всё, по воле Аллаха, повторится заново.

Всё это время где-то шла война, люди шейха Сеифа привычно осаждали Маскат, португальцы лениво оборонялись, ожидая, что, едва подойдёт флотилия из Гоа, трусоватые бедуины разбегутся кто куда, а сам шейх укроется в крепости Растак, где будет сидеть года три-четыре, покуда не подрастут в арабских семьях новые воины, не нюхавшие португальских мушкетов. Что в дело вмешаются турки – никто не верил. Ясно же, что, пока власть Сеифа распространяется только на горы, он будет послушен султану Мухаммаду, признавая себя вассалом Высокой Порты, а ежели окажется в его руках целая страна, то бывший шейх немедля возгордится, самого себя султаном наречёт, и что из того произойдёт – догадаться не трудно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.